

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕОНТЬЕВ

Дитя души
Мемуары



КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«НИКЕЯ»

Дитя души. Мемуары / Сост. Ю. Шигарова/ Конс. проф. А.Ужанков.
//Никея, Москва, 2015
ISBN: 978-5-91761-339-0
FB2: Олег Власов "prussol", 06 September 2015, version 1
UUID: c9253013-547c-11e5-b6ff-002590591ed2
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Николаевич Леонтьев

Дитя души. Мемуары

(Классика русской духовной прозы)

К. Н. Леонтьев – самобытный, оригинальный и в то же время близкий к Русской Церкви мыслитель. Он часто советовался с оптинскими старцами по поводу своих сочинений и проверял свои мысли их советами. Именно его оригинальность, с одной стороны, и церковность, с другой, стали причиной того, что он не снискал широкой популярности у читающей публики, увлеченной идеями либерализма и политического радикализма. Леонтьев шел против течения – и расплатой за это стала малоизвестность его при жизни.

Содержание

Предисловие	0005
Дитя души Старинная восточная повесть . .	0019
Мемуары	0267
Четыре письма с Афона	0267
Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе	0346
О серии	0387
Мы рекомендуем	0389
Об издательстве	0391

**Константин Николаевич
Леонтьев
Дитя души. Мемуары**

*Рекомендовано к публикации Изда-
тельским советом Русской Православ-
ной Церкви ИСР 14-407-0752*

Предисловие

I

Уникальность Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) в истории русской культуры в том, что он был одновременно, пожалуй, самый самобытный и оригинальный и в то же время очень процерковный (*sit venia verbo*) – или один из самых близких к Русской Церкви мыслителей. Не просто относившийся к ней с симпатией, но, например, часто по поводу своих сочинений советовавшийся с оптинскими старцами и проверявший свои мысли их советами.

Налицо очевидный парадокс! Действительно, казалось бы, как можно совмещать любовь к Церкви и евангельскому учению, которые, как Столп Истины, неизменны на все времена (Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Мф. 24:35)), стремление руководствоваться ими и безусловно подчиняться церковному авторитету – с творческой оригинальностью в мыслительной сфере? Однако Константину Леонтьеву это как-то удавалось.

С одной стороны, его несомненную ориги-

нальность, талант и масштаб признавали Василий Розанов и Владимир Соловьев, Николай Бердяев и Лев Тихомиров. Например, Лев Толстой говорил, что «Леонтьев стоял головою выше всех русских философов». С другой стороны, став после своего обращения в июле 1871 года глубоко, последовательно и искренне верующим человеком и уволившись с дипломатической службы, Леонтьев стал все ближе и ближе подходить к монастырю. Стоит почитать опубликованные в этой книге «Четыре письма с Афона», чтобы увидеть, насколько глубоко Леонтьев понял и почувствовал смысл и вкус монашеской жизни. Например, в третьем письме он объясняет, что, несмотря на то, что брак и монашество кажутся антитезами, для истинного брака монашество необходимо как его некий образец. Ведь брак, в котором супруги верны друг другу, говорит Леонтьев, – это тоже своего рода аскетизм, иночество вдвоем с детьми-учениками. В 1887 году Леонтьев поселился рядом с Оптиной пустыней, где в августе 1891 года (за три месяца до своей смерти) принял тайный постриг с именем Климент.

В то же время именно его оригинальность и самобытность с одной стороны и процерковность с другой послужили причиной того, что он не снискал широкой популярности у читающей публики, все больше тогда заражавшейся идеями либерализма и политического радикализма. Леонтьев «шел естественно наперекор историческому процессу», против течения, – и расплатой за это стала малоизвестность при жизни. И это очередной леонтьевский парадокс. Он был выдающийся писатель и прозаик, писавший замечательные романы. Знатоки ставили его вровень с Толстым по художественному мастерству. Тем не менее его литературные произведения не вызвали заметного и значимого отклика у читателей и критики. Свой литературный неуспех он позже осмыслял как Божий знак и действие Провидения: оно не дало ему «уйти в сторону», заняться чем-то, что могло бы его удовлетворить и «насытить» – и закрыть тем самым путь к Богу. И еще шире: «Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя расстраивали ход истории посредством преждевременного действия на умы».

Зато сегодня мы можем оценить, как неожиданно много сбылось из предсказанного Леонтьевым. Вообще говорить о пророчествах К. Н. Леонтьева даже модно, и это неслучайно. Ведь для этого есть основания. Например, он был уверен в том, что панславянское братство и единство – это миф, мираж, иллюзия. Он ясно видел, что народы Восточной Европы (Болгария, Чехия, Балканы и др.) уже тогда необратимо поддались обуржуазиванию, духовно встроились в хвост «передовой» Западной Европе с ее всеуравнивающим прогрессом, либерализмом и демократией. В досаде он меланхолично отмечал: «На кой нам прах эти чехи». Прозорливость Леонтьева в этом вопросе получила свое окончательное доказательство сегодня, когда вся Восточная Европа (а с ней и Болгария, которая, кстати, дважды в мировых войнах XX века умудрилась выступить на стороне врагов России) безоглядно вступила в НАТО.

Леонтьев угадал и то, что XX век станет веком социалистического рабства и что русский народ очень скоро может обратиться из народа-богоносца в народа-богоборца: «Быть

может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, – вероятно, в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм – феодализм общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой и ко власти общегосударственной поставленных. Я говорю из вежливости, что подозреваю это; в самом же деле я в этом уверен, я готов пророчествовать это».

Удивительно, но Леонтьев угадал и то, какую негативную роль в России в связи с этим сыграет философия в лице гегельянизированного марксизма. В одном из писем Розанову он пишет: «Я опасаясь для будущего России чистой оригинальной и гениальной философии. Она может быть полезна только как пособница богословия. Лучше десять новых мистических сект вроде скопцов и т. д., чем пять новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т. п.). Хорошие философские системы, именно хорошие, – это начало конца».

II

Жизнь Леонтьева была очень насыщенной. Разносторонность его занятий поражает.

Он был медиком, писателем, дипломатом, мыслителем и публицистом, под самый конец жизни – монахом. Родился Константин Николаевич в селе Кудинове Калужской губернии в семье местного помещика. После учебы на медицинском факультете Московского университета он в качестве батальонного лекаря принимает участие в Крымской войне (1853–1856), командует госпиталем. В 1863 году, после неудачных попыток на литературном поприще, поступает на дипломатическую службу и проводит десять лет в болгарских и греческих провинциях тогдашней Турецкой империи.

Ему покровительствует знаменитый русский государственный деятель и дипломат граф Н. П. Игнатьев, тот самый, благодаря дипломатическому искусству которого Россия присоединила себе земли по правому берегу реки Амур (сегодня это территории Приморского края и юга Хабаровского края).

Известен патриотический, хотя и не очень дипломатичный поступок Леонтьева, когда он на Крите ударил наотмашь хлыстом французского консула Дерше за неуважительный

отзыв о России. Формально Леонтьеву сделали выговор по службе и отозвали в Константинополь, но на деле поступок Леонтьева вызвал сочувствие, а он стал популярной личностью в русском консульстве.

Затем, уйдя с дипломатической службы, Леонтьев активно выступает в публицистике, работает шесть лет цензором в Московском цензурном комитете. Известен еще и такой его неординарный поступок. В цензурный комитет поступили стихи одного либерального автора, где была такая строка: «Воруют даже генералы». Леонтьев, недолго думая, зачеркнул слово «генералы» и написал вместо него «либералы». В таком виде стихи и пошли в печать: «Воруют даже либералы». Можно представить себе изумление автора, когда он увидел свои строки опубликованными...

III

Леонтьев в своем творчестве отстаивал принцип византизма. То есть он считал, что главной культурно-исторической особенностью России является органичное сочетание Православия и самодержавия, унаследованное страной от Византии.

Идеи Леонтьева, конечно, противостоят идеологическому и культурному мейнстриму Нового времени с его культом индивидуальности и человеческой самостоятельности, опоры лишь на свои силы. Леонтьев предлагает иную перспективу. В сознательном индивидуалисте, настаивающем на правах собственной личности, подчиняясь леонтьевской оптике, вдруг видишь «существо, искорверканное чувством собственного достоинства». Возможен и нужен иной выбор, в котором высшими ценностями являются смирение, жертвенность, смиренномудрый отказ от индивидуального активизма.

Вот как Леонтьев в целом характеризует византизм и какие главные черты он в нем выделяет:

«Византизм в государстве значит самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многом крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено

в историю германским феодализмом; знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства».

Одна из постоянных тем Леонтьева, вытекающих из его понимания византизма, – борьба с так называемым розовым христианством. Так он называл широко распространенное в XIX веке представление о том, что главное в христианстве – это его нравственная сторона, взятая в отрыве от догматики и учения о Страшном суде, одна лишь любовь и милосердие. За подобные идеи он критикует, в частности, великих русских писателей Ф. Достоевского и Л. Толстого. В религии мало одной нравственности, говорит Леонтьев. Она сама, в свою очередь, должна основыв-

ваться на мистике и догматике, на том, что «начало премудрости – страх Божий». Тенденция сводить христианство лишь к морали напрямую грозит его обмирщением, способствует иллюзиям насчет того, что возможно земное счастье, здесь и сейчас, в этой жизни. Но ведь, как говорит Леонтьев, Христос в Евангелии никакого счастья в этой земной жизни не обещал. Напротив, Он сулил живущим грядущие бедствия и потрясения. Царство Мое не от мира сего (Ин. 18, 36).

«Розовые», сентиментальные тенденции в христианстве логично приводят к представлениям об общечеловеческой нравственности, присущей всем людям и одинаковой в любых религиях. Но зачем тогда вообще и сама религия – с ее определенными строгими догматами и глубокой мистикой? Невозможно усреднить в единую мораль, например, буддизм, христианство, ислам и европейский секулярный гуманизм. В том числе и христианская этика невозможна вне своей догматической основы.

IV

Леонтьев учит неприятию идеологии как

таковой. Ведь идеология как феномен связана с эмансипацией новоевропейского человечества от религии в Новое и Новейшее время. Она претендует на понимание логики и законов истории, на обладание знанием, как должно быть устроено общество. Таким образом, любая идеология (коммунистическая, либеральная) предлагает тотальные распорядительские общественные проекты, которые человечество должно воплотить в реальной жизни. В этом смысле идеология основана на стремлении человека устроиться на земле лишь с опорой на собственные силы и разум. И поэтому понятие «христианская идеология» – не меньший оксюморон, чем, например, деревянное железо. Идеология – это принципиально не христианский, даже антихристианский феномен. Ведь христианство не идеологично и не политично.

Леонтьев не принимал в современной ему Европе как раз этот тотальный распорядительский дух, который основан на человеческой надежде прочно устроиться на земле лишь своими силами. Традиционная сословная монархия для Леонтьева – гораздо более

естественное и органичное общество, чем либеральная демократия, за которой стоит новоевропейская мобилизация, отправляющая человека на безоглядное и тотальное распоряжение миром и самим собой: «В прогресс верить надо, но не как в улучшение неперемutable, а только как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодушная, все ожидающая какой-то весны».

В том числе знаменитый и много порицавшийся леонтьевский эстетизм объясняется этим окрашенным в пессимистические тона всепринятием жизни.

Пусть все будет так и все остается так, как оно есть, словно говорит Леонтьев. Он не отворачивается ни от цветущей сложности мира, ни от того, что рано или поздно она «скользнет в небытие».

В целом к Леонтьеву приложимо очень много «анти-»: он антилиберал, антигуманист, антидемократ. Но его неприятие новоевропейского гуманизма состоит в том, что

любовь к человеку, взятая вне религиозного измерения, – это антрополатрия, человекобожие, которое растет из того же представления о самодостаточности и автономности человеческой личности, что и идея прямолинейного и необратимого прогресса. Пусть гуманизм – самое симпатичное проявление этой антрополатрии, но, доведенный до своего предела, он оборачивается своей противоположностью – что, собственно, и случилось в XX веке. Поэтому во главе всей человеческой жизни как начальная точка отсчета должен быть «страх Божий» – хотя бы потому, что силы Бога и человека несоизмеримы, говорил Леонтьев.

Новое общество, возникающее в Европе, Леонтьев называет «граммато-плутократической республикой», где господствуют образованные и очень богатые люди. Между тем разве можно с нынешними образованными людьми говорить действительно «всесторонне и глубоко», ведь они никак не могут выйти из круга общепринятых понятий, не раз иронично сокрушается он. У всех готовый набор схем и принципов, чтобы их освоить и при-

нять, много думать не надо. Леонтьев отмечает, что нынешнему образованному человеку тяжело быть христианином не только потому, что надо бороться со своими страстями – стяжательством, гневом, злобой, пьянством и т. д. Надо ведь еще и гордость ума своего сломить и даже безусловно предполагать, что какой-нибудь деревенский грубый поп более прав (о ужас!), чем утонченный художник или великий мыслитель, скажем, Гегель или Прудон.

И действительно, как говорит Леонтьев в «Моем обращении...», «что за ничтожная была бы вещь эта “религия”, если бы она решительно не могла устоять против образованности и развитости ума!» Этим леонтьевским восклицанием мы и хотим закончить наше небольшое предисловие и почтительно дать слово уже самому автору.

Юрий Пуцаев

Дитя души[1]

Старинная восточная повесть

I

Жил муж с женой.

Был у них домик, был один осел, одна корова, куры были, собака, кошка и больше ничего. Не было у них и детей.

Муж по чужим домам в работу нанимался; рыбу ловил, людям помогал; уголь в город привозил продавать на осле. Жена рубашки ему ткала, дом прибирала, пищу варила, коровой занималась, цыплят выводила.

Пока была у них сила, они терпели и не плакали, и даже песни пели веселые – и одни, и при людях. Муж никогда не пьянствовал, но, когда были лишние деньги, он заходил в кофейню и выпивал одну маленькую чашечку кофею и стакан холодной воды, с людьми беседовал благочестиво, и весело, и тихо, и в ссоры никогда не вступал, а напротив того, других примирять старался. Звали его Христо. Жену его звали Христина, и она тоже была женщина хорошая, как муж. С соседками хоть

и ссорилась, потому что была женщина, но все-таки ссорилась редко, и соседки ее любили...

Все звали ее Кира[2]-Христина, хоть и знали, что она была бедна.

– Кира-Христина! Как здоровье твое? Что поделываешь? Бедная ты моя!

И Христо люди звали и на базаре, и везде:

– Добрый ты человек!.. Как время свое проводишь? Как живешь? Здоров ли ты? Жена твоя здорова ли?..

Однажды порубил Христо топором ногу и долго лежал; а Христина простудилась и в лихорадке лежала. Жаркое было время; мухи их в бедной хате тревожили. Муж лежит и жену жалеет, а жена мужа. Муж не может за лекарем сходить, чтобы жену полечил; жена раз в день едва до угла дойдет воды принести. Хлеба им соседи давали.

Долго болели они. Слышит Христо однажды ночью, что жена не спит, а молится. Стал он слушать, о чем она молится. И слышит, что она говорит Богу: «Господи Боже мой! Не послал Ты нам богатства, мы работали и песни пели, не плакали; послал Ты нам болезни,

мы на Тебя не роптали; пошли Ты нам дитя, чтоб оно кормило и пило нас, когда мы постареем и изувечимся».

Тогда Христо стал смеяться над ней и сказал:

– Мне сорок лет, жена, а тебе тридцать пять; двадцать лет у нас детей не было, а теперь будут?

Христина рассердилась и сказала:

– Для Бога все возможно!

Пришел к ним старый поп – посетить и утешить их, и спросил у него бедный Христо: кто правее, он или жена? А поп ему:

– Жена правее. Для Бога все возможно; только не всякий чудес достоин! Вот наша беда!

Поп ушел. А Христо стал после этого скоро поправляться и начал ходить на работу. Нога его зажила. Лихорадка тоже у Христины прошла, и она стала в доме работать по-прежнему. Только прежде она и за пряжей сидя, и пред печкой одна стоя все пела что-нибудь веселое; а теперь, как одна останется, так молиться начнет: «Недостойна я, Боже мой, чтоб утроба моя разверзлась и чтобы бесплодие

мое прекратилось; ибо я исполнена всякия скверны и греха; но как Ты знаешь, так и устрой мое дело!»

Так ее священник научил.

Вот однажды слышит она вечером, что стучится муж, и она пошла отворить ему.

– Божий дар! – сказал он, улыбаясь, и раскрыл одежду; а там дитя уснувшее – мальчик.

– Не тебе, а мне Бог послал его, – сказал ей Христо шутя; вошел в дом и положил дитя у очага на коврике, а сам достал из-за пазухи четыре прекрасных цветка: один красный, один белый и два желтых – и положил их на стол. Жена на них и не поглядела.

Дитя спит, а Христина плачет.

– О чем же ты плачешь, глупая, когда Бог нам послал то, о чем ты молилась?

Но она, хотя и занялась тотчас же младенцем, долго еще слезы утирала украдкой. Муж ей говорил:

– Милая ты моя, ты, верно, от радости плачешь?

А она ему:

– Да, кир-Христо ты мой, я от радости плачу.

Понимала она, что это-то и было исполнение ее молитв и что роптать ей не следует теперь; но все-таки ей было немного обидно, что это дитя не ее дитя родное, не ею рожденное, не в ее утробе выношенное с тяжкою болью. Женщина!

Ей бы нужно тотчас пред иконой стать и благодарить Бога; а она и не молится, и на ребенка не смотрит. Пошла за дверь и села на камне у порога; не хочет ничего видеть. И мужу стало обидно, что он напрасно радовался и бежал почти к ней с младенцем; и он забыл помолиться; надел башмаки опять и ушел из дома на весь вечер и дверью хлопнул.

Так Христина, по глупости своей, Божий дар нехорошо приняла и мужа смутила и расстроила.

Сидела она на камне у ворот, однако, недолго. Ночь была хотя и лунная, но осенняя, скучная... и очень холодная; ветер сильный был, и листья шумели, и деревья качались пред ней, и начала думать она, и сказала себе наконец: «Эти деревья качают главами своими мне в укор и насмешку: вот, говорят они, эта дура Христина, которой Бог по-

слал сына, и она оскорбляется и на дитя невинное и безродное смотреть, как псица злая, не хочет. Это так шепчут деревья эти страшные и так они укоряют меня!..»

Возвратилась она в комнату, зажгла огонь, и младенец проснулся на коврике у горящего очага.

Присела Христина на землю и стала на него смотреть пристально.

Мальчик не плачет и ничего не говорит. На вид ему года два.

Глаза веселые, большие-большие, синие, такие синие, как небо в самый зной бывает, или как бирюзовый камень дорогой у богатых людей на запястьях и перстнях, или еще как цветок редкий. Посмотрела Христина после глаз на волосики мальчика; они как шелк темные или как соболиный мех на шубе царской, и курчавые, как у агнца молоденького. И лицо у мальчика здоровое и румяное, брови у него как снурки[3] темные, ресницы как черные острые стрелочки. Стала она уже любоваться на красоту младенца и развеселилась, и засмеялась, и стала сама себе шутя говорить:

«Вот Господь Бог-то знает, что посылает... Я ведь так и молилась: как Ты знаешь, так и устрой мое дело... а не так, как я хочу. Нам с бедным Христо моим не родить бы такого красавца! И мы некрасивы, и дитя, от нас рожденное, в кого ж бы вышло такое? Муж мой и смолоду, как сушеная рыбка, худой был и глазами косит немного; а я хоть получше его всегда была, а все не из первых. Может, выйдет такой красоты молодец у нас, такая картина и сокровище, что царские дочери об нем убиваться станут...

И женится он на богатой, если не на царевне самой... И будет наша старость с бедным Христо богатая, богатая, веселая и спокойная!..»

И задумалась она теперь уже совсем иначе. Стали ее мысли все веселые. Стала она ребенка молоком и хлебом кормить; воды нагрела, мыть его стала и радуется, что и дитя тихое и покорное, все глазками на нее глядит и не плачет; в чистое белье его одела и на ковре опять спать положила.

Муж утром вернулся и увидал, что жена уснула у очага и младенец около нее тихо

спит.

Он обрадовался и сам лег. И все-таки Бога не подумал поблагодарить; вечером так же, как и жена, с досады забыл, а теперь от радости.

На другой день Христина вспомнила, когда муж ушел на работу, что она и не спросила у него, откуда он взял ребенка. Стала она об этом тревожиться и сокрушаться и насилу-насилу мужа дождалась. Как только он пришел, она приступила к нему:

– А я и не спросила тебя, где ты этого младенца нашел.

Христо говорит ей:

– Не спрашивай у меня об этом никогда. Я должен открыть тебе это тогда, когда от вчерашнего дня пройдет восемнадцать лет и один день. А до тех пор на мне лежит великая клятва. И я умру, если скажу об этом кому-нибудь...

Христина оскорбилась, и любопытство, как червь, начало точить ее сердце.

– Чем же я хуже тебя пред Богом и пред людьми, что мне нельзя того знать, что ты знаешь? Не хуже я. Жена без мужа не бывает,

да и муж без жены что такое... Ты муж, а я жена.

– Не хуже ты меня, моя дорогая, пред людьми. А пред Господом Богом, может быть, и несравненно меня ты честнее. Но верь ты мне, моя жемчужина драгоценная, что если я тебе скажу это прежде восемнадцати лет и одного дня, то я сейчас же умру лютою смертью грешника, который клятву великую нарушил.

Так отвечал ей Христо, как муж разумный и добрый. А она все свое:

– Не знаю, отчего ты мне этого открыть не хочешь! И почему ты не веришь мне? Не знаю!

– Хочу, но смерти боюсь, – отвечал ей, вздыхая, муж.

И правда, зарок на нем был великий и страшный. Но не верила ему жена и знать не хотела о страхе его. Допустила она в сердце свое злого духа, и начал он, вселившись в нее, искушать ее всячески. То думала она, что ребенок этот от какой-нибудь блудной и дурной женщины мужем прижит от нее тайно, и начинала она его вдруг ненавидеть; то думала,

что хоть и не от мужа он в грехе прижит, то по крайней мере от худой какой-нибудь ветви происходит, и вот потому-то в дом их раздор с ним вместе пришел. А иногда мерещилось ей, что дитя совсем даже не простое дитя, а страшное, не человеческое.

Плачет дитя, есть и пить просит; она пожалует, даст ему есть и пить, а сама качает головой и думает: «Сердитое дитя будет, беспокойное... Не от злой ли матери оно рождено на мое несчастье!..»

Тихо дитя, долго не плачет, и все смеется, и на нее все глядит; станет ей страшно вдруг, и она подумает, «что дитя это не по-детски смотрит. Не человеческое дитя. И плачет редко. Нет ли тут чего-нибудь дурного?» И раскрывала волоски ему надо лбом, смотрела, не растут ли у него рожки. А когда ей опять этот вздор приходит на ум, что это мужа ее незаконный ребенок, то входила она в такую ярость, что невинную душу иногда погубить хотела. Либо задушить, либо утопить ребенка желала, либо думала: «Погоди ты, дитя анафемское, я тебя не буду кормить, и умрешь ты с голоду, и муж не догадается; подумает, что

ты от болезни умер».

Так допустила в душу свою злого духа добрая Христина. И мужу ее все это время было дома очень тяжело жить.

С горя он в первый раз в жизни пить вина много стал, и хотя слишком пьян не напивался, а все-таки денег трудовых своих тяжелых стал больше на пустое тратить. Так и он подчинился греху больше против прежнего.

А с женой все кроток был. И когда она его укоряла этим ребенком и распутным человеком его звала, и побродягой, и дураком, Христо молчал и уходил из дома в кофейню или кабак.

Испортилась вовсе их благочестивая жизнь, и соседи корить их начали и смеялись над ними.

Придумала наконец Христина новую хитрость, чтобы мужа заставить себе тайну открыть и успокоиться.

Легла в постель, не прядет и пищи не готовит, и за водой не ходит на фонтан, и при муже и ребенка не кормит, а потихоньку встанет без мужа и кормит дитя, все-таки жалеет его.

Муж лекарей приводил, и с соседками советовался, и ходжу[4] в чалме белой приглашал, и ходжу в чалме зеленой, и оба они над Христиной читали из Корана, и еще хуже ей стало. Не пьет, не ест и ни слова не говорит, и все стонет и стонет так жалобно, что Христо и слышать не мог без слез.

Наконец промолвила она слово:

– Скажи мне свою тайну; а если не скажешь, я завтра умру.

Пришли опять ходжи: и тот, который в белой чалме был, и тот, который был в зеленой, и оба сказали: «Умрет, потому что без веры наши молитвы слушала».

Священник сказал:

– Умрет, пожалуй, потому что от ходжей приняла заклинания. За мной не послала во время подобное!

Убивается Христо.

Последние медные деньги, какие были, понес в церковь, подошел к образам, по три раза поклонился и по малой свечке поставил, сколько было сил. И опять, по три раза поклонившись, из церкви домой вернулся. И открылись у него глаза и уши, и ум просветлел.

«Глупый я: из хитрости она притворилась, а я убиваюсь, плачу, а ее не побью. Палка, которая неразумных наказывает и усмиряет, из райского сада, сказано, вышла. Только надо бить не в сердцах, а в спокойствии и с рассудком...»

Обрадовался Христо; взял палку и со скорбью, без гнева, но крепко прибил ею Христину, чтобы встала и не притворялась.

Начала плакать Христина как малое дитя пред ним и просить его:

– Христо, мой золотой, душенька моя, никогда ты руки на меня не накладывал, прости ты меня и не бей больше.

И приказал он ей в церковь пойти помолиться. Христина взяла мальчика и пошла с ним в церковь, и поставила его пред образом чудотворным, и сказала:

– Вот я умею пестрые прекрасные чулочки вязать зимние из разноцветной и нелиняющей шерсти пестрыми звездочками и цветочками. Буду я вязать теперь такие чулочки и продавать их буду, и каждый год три раза ставить свечи в рост этого младенца, которого мне Бог послал. Теперь младенец еще мал, и свеча в

его рост небольшая; а я потом каждый год прибавлять буду по росту его до тех пор, пока он перестанет расти. Пусть только Бог пошлет глазам моим силу и рукам проворство, чтоб я могла вязать всегда эти прекрасные чулочки из нелиняющих шерстей разноцветными звездочками и цветками пестрыми.

Так молилась Христина и целый золотой к образу положила. Золотой этот ею давно спрятан был, и много нужды терпела она за все это время, а золотого не тратила, на случай своих желаемых родов берегла. Теперь же отдала его, и о своем собственном ребенке перестала думать, и успокоилась.

С этого дня отошел от нее злой дух и опять возвратились к ним в дом и молитва усердная, и здоровье, и смех безгрешный, и радость, и согласие, и любовь... А бедны они были по-прежнему и трудились. Мальчик же стал расти благополучно и с каждым годом все становился умнее и красивее.

II

Выросло наконец дитя души у Христо и Христины. Было ему уже около 20 лет, и перестала Христина вязать пестрые чулочки, и пе-

рестала ставить свечи во весь рост его.

Вырос Петро большой и сильный; вырос он белый и румяный, синеокий и чернобрый, вырос добрый и умный.

Скажет ему Христо:

– Петро! сын мой! поди сюда!

Петро отвечает:

– Прикажи, батюшка.

И когда Христо прикажет ему вместо себя поработать пойти или зимой за угольями сходить с ослом, навьючить его и отвести в город, Петро поклонится, и руку к сердцу приложили скажет:

– Сейчас, батюшка мой!

И головой так приятно кивнет: «понимаю», значит, «и все с радостью сделаю!» Скажет ему Христина: – Петро! сын мой, поди сюда!

Петро отвечает:

– Прикажи, матушка!

И когда Христина прикажет ему вместо себя очаг растопить, или за водой сходить, или корову загнать домой, Петро поклонится ей, и руку к сердцу приложит, и скажет:

– Сейчас, матушка! – и головой так же, как

и отцу, и ей в ответ так мило и внимательно склонится, чтобы показать ей радость свою и готовность, что Христина уж ему и слов ласковых не находит, а только вздохнет, и перекрестится, и подумает:

«Прости Ты меня, Господи, грешную, что я так худо думала прежде о младенце этом, который есть Твой дар и Твоя милость к нам, несчастным и бедным!»

И всякое благословенье было на делах рук прекрасного Петро. Очаг ли он топил, приклонившись к земле, у материнских ног, пылал огонь быстро и треск стоял по всей хатке, и дымом не дымило в глаза, и пламень к небу рвался... Рыбу ли он вместо отца с рыбаками ловил, рыбаки боялись, чтобы сеть не порвалась от множества рыбы, и шептали друг другу: – Недаром этого мальчика назвали Петро; он, как Петр апостол, рыбу ловить счастлив!

За угольями ли поедет, уголь все крупный и чистый у него в мешках; за водой ли поедет, вода у него в руках и холоднее, и чище, и слаще станет.

Другие молодцы любили его за то, что силен был и ласков, и песни пел хорошо, и пля-

сал красиво по праздникам, и смел был, и борец он был страшный; никто с ним бороться не мог.

Как увидят его товарищи, все смеются от радости и говорят:

– Вот и Петро идет к нам!

Любили его старцы и старицы за уважение и смирение пред ними. Увидит старца – поклонится и к руке подойдет. Заговорит с ним пожилой человек, он покраснеет, и глаза опустит, и руки спереди сложит; а сам ничуть не боится и не теряется, и все слышит, и все понимает, и все исполняет, что ему старшие говорят. И когда отойдет Петро от них, все старики и старухи про него так отзываются:

– Если краснеет юноша пред старшими, знай, что это хорошо. Это значит – он чувствует все!

Соседки молодые кланялись ему и заговаривали с ним, когда он проходил мимо; все они любили ему сказать: «Здравствуй, Петро!», а самые молодые девушки взглянуть на него прямо не смели, а из калиточек смотрели или из-за окон; а одна из них, богатой матери дочь, как увидит, что он идет, тихонько

от матери выбегает или приподнимется на что-нибудь, встанет, чтобы через стенку взглянуть, или нагнется куда-нибудь, бежит, прячется, чтоб из-за угла или в щель на него порадоваться. А Петро идет, не смотрит; а сам все видит и про себя улыбается, и молчит, никому не признается, что он все понимает.

Бедна одежда на нем – шальвары простой абы[5], темной, из овчины простой безрукавник, ветхий, отцовский; но и в убогой одежде этой высится он между другими юношами кипарисом прямым и душистым между другими деревьями; а из-под белого валяного колпачка, как гроздья винограда полные, и как лозы гибкие, и как шелк мягчайший, и как соболиный темный мех зимою на шубе царской, ниспадают кудри его молодые, длинные, на широкие плечи. И руки его сильны и ловки, и поступь, как у королевского сына, и ноги в простых кожаных сандалиях, по колена нагие, красивы как столбы мраморные, и как железо крепки, и быстры как стрела, которую мечет искусный гонуэзский стрелок или житель критских снежных вершин – сфакиот[6] белокурый.

Духовенство тоже восхваляло молодого Петро. Он был благочестив, в церковь часто ходил и от трудов своих уделял на храм и свечи к иконам. Когда видел на дороге попа или монаха, не медля, подходил и целовал десницу его, говоря: «Благослови, отче!»

И попы, и монахи говорили с ним любезно, подавая десницу, и звали его всегда: «благословенный наш Петро». И радовались на благочестие Петро Христо и Христина.

Христина восклицала:

– Воистину от Бога нам это дитя!

А муж отвечал ей:

– Я тебе говорил, что от Бога, а ты сердилась!

Христина иногда опять просила, чтобы Христо рассказал ей, как и где послал ему Бог этого мальчика; но Христо отвечал ей:

– Глупая! помни, что не прошло еще сполна восемнадцать лет.

И Христина перестала просить, но ждала этого срока с нетерпением.

Пришел наконец этот срок.

Однажды Петро шел по улице и увидал, что две соседки говорят между собою у ворот.

Когда он проходил мимо них, одна из них сказала другой:

– Вот идет этот Петро-приемыш, которого Христо, сосед наш, неизвестно откуда принес восемнадцать лет тому назад.

Петро огорчился, слыша такие слова; он до той минуты все думал, что Христо и Христина ему настоящие отец и мать. И никто никогда не говорил ему, что он приемыш.

Он огорчился и, возвратившись домой, стал просить Христо и Христину сказать ему правду: сын ли он их или нет?

Христо ужаснулся и, сочтя годы, и месяцы, и дни в уме своем, понял, что прошли те восемнадцать лет, о которых была столько раз речь у него с женою, и что в этот самый день приходилась годовщина тому дню, когда он принес с собою маленького Петро.

Он велел жене и приемышу сесть и, сев сам против них, стал рассказывать:

– В этот самый день, восемнадцать лет тому назад, возвращался я поздно вечером домой. Уставши я был от работы, и хотелось мне домой, и не хотелось; знал я, что застаю жену опять печальную и что денег не было

ни пластра. Стемнело, когда проходил я по лесу мимо пустынной церкви Св. Николая; я остановился и помолился еще раз, чтобы Бог послал нам сына на помощь в старые годы, и как стал я спускаться с ослом моим после этого под гору, так увидел я, что сидит в стороне на камне старушка в изодранной одежде, и держит на руках ребенка, и плачет над ним. Так как место это было очень дикое и от всякого села далекое и время было вечернее, то я очень испугался и принял ее за видение; осел мой тоже остановился и не хотел идти. Я сказал тогда старушке этой: «Добрая моя старуха, если ты человек живой, то скажи мне слово какое-нибудь, а если ты не человек, то именем Господним заклинаю тебя, исчезни и дай мне пройти домой по этой узкой дорожке». На это старушка отвечала мне человеческим голосом: «Я, господин Христо, человек такой же, как и ты, и вышла я сюда нарочно тебя ожидать». Я ужаснулся, слыша свое имя, еще больше потому, что старухи этой никогда не видал и не мог понять, почему она знает мое имя; так ужаснулся, что ноги и руки у меня задрожали. Тогда старушка

сказала мне: «Не бойся и выслушай меня. Была у меня шестнадцатилетняя внучка, прекрасная и скромная Севастица. Честнее и смиреннее моей Севастицы во всем соседстве не было. Солнечный свет не видал ее, никогда она не гуляла, все дома трудилась и шила. Выдала я ее замуж за хорошего молодца, и родила она мне через год вот этого сиротку, которого ты видишь, и мы жили прекрасно. Однако пришла буря и гибель моя, пришел черный день, и остались мы с маленьким Петром оба сиротами. Поссорился ее муж молодой с другими людьми в городе, и убили его, а внучка моя была в тягости и от испуга и жалости сама тотчас же скончалась. Вот уж тому год, как живу я так, и стала в тягость всем людям, и не знаю, чем прокормить младенца этого. Ему уж два года. Много я плакала, много людей просила, но не жалели меня люди; вздумала я помолиться Богу, и было мне во сне видение, и сказано мне: «Поди, старуха, и сядь под горку, с которой узкая дорожка вниз идет от пустынной церкви Св. Николая в лесу, и когда увидишь ты человека с ослом, навьюченным хворостом, и будет он спускаться с

этой горы, то ты сядь, и заплачь, и отдай ему ребенка, он и возьмет. Зовут его Христо. А твои дни сочтены, старуха, и ты после этого тотчас умрешь». И я очень рада разрешиться от бремени жизни, ибо мне и хлеб надоело есть в одиночестве, и жила я лишь для этого маленького Петро, а когда ты возьмешь его, то умру я в ту же ночь. Так возьми же его, господин мой. Это дитя тебе от Бога и принесет тебе великое счастье». Тогда я взял тебя, Петро, от твоей бедной бабушки и, как ты спал, то и не заметил этого и не испугался. Она поклонилась мне в ноги; имени же своего сказать мне не хотела. И так я ушел и унес тебя на руках. А что все это была правда и что она была человек живой, то это я знаю вот почему. Через несколько дней рассказали мне люди из ближнего к этому лесу села, что на том повороте тропинки, о котором я говорил, они нашли умершую какую-то чужую старушку, и отнесли к себе в село, и по-христиански погребли ее.

Христо кончил. И Христина, и Петро плакали, слушая его рассказ. И Христина сказала: – А потом что было? Куда ж ты потом по-

шел?

Христо начал было так:

– Оттуда я пошел, и ночь стала совсем темная. Как вдруг... как вдруг увидал я...

– Что ж ты увидал? – спросила жена с любопытством.

Христо смутился, а потом засмеялся и сказал:

– Тебя увидал, домой пришел и его тебе отдал. Вот и все.

Христина тоже стала смеяться и радоваться, глядя на Петро, и удивлялась про себя молча, как она могла прежде думать, что ее прекрасный воспитанник какое-нибудь не человеческое, а худое дитя, что и назвать страшно. Звала она себя дурой и радовалась тому, что Петро был настоящее дитя души, дитя милосердия; и что им, людям бедным, пришлось оказать милосердие другим, еще более несчастным, чем они сами.

Христина радовалась, но муж ее и Петро были оба печальные и задумчивы.

Петро, как узнал, что они не родные ему отец и мать, а по милосердию столько лет кормили и растили его, так сейчас и решился

на другой день от них уйти, чтобы заработать им, в свою очередь, под старость хорошее пропитание.

А Христо был печален, потому что знал, что Петро на другой день уйдет, хотя Петро ему этого и не говорил.

Петро на другой день, встав, поклонился в ноги своим воспитателям и сказал им:

– Не для того вы взяли меня и растили, чтобы в старости я вас бедными видел. Благословите меня на дальнюю чужбину. Там я либо погибну, либо богатыми вас сделаю.

Христина стала плакать и сказала ему:

– Зачем нам богатство? Живи с нами, Петро; и когда мы очень постареем, ты нас здесь простым хлебом прокормишь и простым вином напоишь.

Но муж сказал ей:

– Не удерживай его, Христина. Ему так написано – на чужбину уйти.

Тогда они приготовили ему пищу для дороги – и Петро, взяв пищу и посох, ушел на чужбину.

III

Когда Петро ушел на чужбину и остались

одни Христо и Христина, они много плакали и старались друг друга утешить.

И Христо сказал ей:

– Пойдем, моя добрая жена, сядем у очага, и теперь-то я тебе открою ту великую тайну, которую ты так желала знать и о которой теперь совсем и забыла. Пока дитя души наше было здесь, я при нем не мог этого сказать. Не должен он этого знать. И оттого и тебе я не мог прежде его ухода открыть эту тайну, чтобы ты не сказала ему по материнской любви. Когда покинул я с великим сожалением и страхом бедную бабушку Петро на узкой тропинке, стало в лесу уже совсем темно. И осел наш не знал, куда идти, и я сам шел с великим страхом по дороге, боясь оступиться и ушибить младенца, которого послал нам Господь. Ты знаешь, жена, какие в том лесу большие и широкие каштаны; шум и ветер от них все усиливался, а ночь все чернела. Наконец показался мне вдали небольшой огонек. Однако огонек этот был не похож на такой, какой виден ночью из человеческого жилья, а был он какой-то слишком красный, так что я идти к нему не желал. Но смотри ты, какое

дело. Осел мой привел меня к нему: по другой дороге он не захотел идти. Как стал я подходить ближе – огонь этот все вырастал, и наконец увидал я пред собою прекрасную дверь, как бы из кристалла, багряного цвета. Сквозь нее, я видел, блистали несметные огни. Что было делать? Тут слышу я изнутри голос... голос самый приятный и нежный, который говорит мне ласково: «Взойди, Христо, не бойся». Коснулся я только двери, так она сейчас отворилась, и увидал я пред собой, жена, большую храмину[7], такую богатую, изукрашенную и прекрасную, что я никогда такой не видал, да и верно никогда не увижу. Скажу я тебе только, что она была многоцветнее и изукрашеннее самых дорогих иконостасов в больших городских церквах. И столбы меня окружали со всех сторон из разноцветного мрамора, и не знал я, куда мне между ними идти. Однако пошел прямо и прошел я несколько таких покоев, один прекраснее другого, и опять увидал другую дверь пред собою, но эта была белая, как бриллиант, и вся она сияла в граненых украшениях, но сквозь нее ничего не было видно, и опять раздался

ласковый голос: «Не бойся, Христо, взойди». И опять едва я коснулся рукой этой двери, как она отворилась, и я вошел. И тут что увидел я, жена, то мне рассказать тебе еще труднее, ибо первая храмина и другие покои были подобны хотя бы и царскому, но все-таки человеческому жилищу. Здесь же было нечто во все иное, ни на жилище, ни на храм не похожее. Сказать тебе – похоже это было как бы на большой купол, опущенный над самую землю и не слишком обширно, но непостижимо и чудно. Как бывает в тех пещерах, ты знаешь, в которых сверху просачивается вода и натекает известь сосцами, и ты, стоя в той пещере, ничего не слышишь, только слышишь, как падают сверху капли. Так с этого чудного купола над бедною головой моей висели, и сияли, и светились все сплошь драгоценные камни, изумруды, яхонты алые и синие, и зеленые смарагды, и алмазы чудного блеска разной величины и всякого вида. Одни из них спускались длинные, как острые, длинные льдинки, которые в морозные дни в холодных землях на краях крыш натекают; другие были круглые, подобные женским сос-

цам; а иные походили больше на вымя тучной коровы с четырьмя сосцами. Благоухание в пещере той было необъяснимое, и по чем я ступал босыми ногами моими, я долго не мог понять. Мягко оно было, как самый нежный ковер, и свежо, и пестро, как цветы, и все в узорах, все в узорах, но сыро оно как цветы не было, и, нагнувшись, увидел я, что это все были самые нежные и разноцветные перышки и пух разных птичек, таких, каких мы с тобой и не видали. И все узоры были в порядке, как на ковре; где быть траве, там перышки были зеленые, а где цветам – там разноцветные. И ни одной лампы или другой светильни, верь мне, жена моя, не было, однако все сияло, как будто было много свечей. И вот чему удивишься ты, когда я скажу тебе, что смарагды, и яхонты алые, и алмазы таяли беспрестанно, капая сверху, и как только отделялась капля от застывшего камня, так становилась она яркою звездочкой, и огонь был такого же самого цвета, какого был сам камень. Так что вся пещера была наполнена как бы огненным многоцветным дождем; и, падая вниз на ковер, обращались эти звездочки, опять засты-

вая, в маленькие капли драгоценной росы. Посредине пещеры стояло что-то, как золотой столик, и на столике этом увидел я три кристалльных сосуда. В одном из них были большие цветы пурпуровые – налево. В среднем сосуде цветы были, как червонцы золотые, желтые, а в третьем, направо, были белые и чистые, как крин. Голос опять сказал: «Подойди!» Я сначала не знал, как идти мне под этим огненным дождем; держал крепко Петро руками (а он все спал у меня под одеждой) и закрывал ему лицо, чтоб его не обожгла какая-нибудь из этих звездочек. Однако вспомнил я тот ласковый голос, который говорил мне: «Взойди и не бойся», – и подошел к столу. И опять услышал я тот же голос, и он сказал мне вот что:

– Христо, добрый человек! Судьба младенца этого, Петро, которого тебе Бог послал, теперь в твоих руках. Счастье людям бывает разное, и разные бывают у них грехи и пороки. Уйти ты отсюда не можешь, не взяв цветов из одного из этих сосудов. Если ты возьмешь цветы пурпуровые, которые похожи на молодую кровь, твоего Петро будут любить

все женщины: и жены молодые, и девушки, все красавицы, и бедные, и богатые, и простые, и из хороших домов, и такие, что хлеб свой трудом зарабатывают, и царские дочери, что на золоте и серебре едят. Честные за него честь свою захотят потерять, а развратные разврат оставить, чтобы его любви удостоиться. Такое ему будет счастье, если ты возьмешь пурпурный цвет. Если ты возьмешь из среднего сосуда желтый цветок, подобный червонцам, – богатство будет этому Петро рекою литься без большого труда, и будут люди завидовать ему, но даже и ненавидящие его за глаза – в глаза будут льстить ему, ожидая от него помощи и даров. И будут, и не любя, исполнять в угоду ему все его желания. Но бойся, чтобы не стал он сребролюбив, и скуп, и безжалостен к чужой бедности. Если ты возьмешь из среднего сосуда белый цветок, подобный крину, белый и чистый, не будет Петро ни на женщин счастлив, ни богат; будет далек от всякого плотского греха, будет тверд как алмаз и свободен от сребролюбия, честоугодия, властолюбия; будет святым человеком в этой жизни. Но бойся – и здесь для него

скрыт яд, непонятный твоей простоте. Яд этот незримый зовется духовная гордость. Он может счесть себя выше ангелов, людей других будет судить беспощадно и душу свою не спасет на том свете; ибо этот грех есть отец всех грехов, и чрез него в мир вошли другие грехи.

Перестал тогда говорить голос, а я подумал: «Если я возьму красных цветов – будет Петро буян и женолюбец, либо забудет нас, либо его какой-нибудь ревнивый и гневный муж убьет, застав его с женой; а если я возьму только желтых – будет он богат и скуп и нам помогать не будет, и будут его ненавидеть все люди; а если я возьму только белых, которые как душистый крин чисты, – тогда он будет скучать мирскою жизнью, уйдет далеко от нас на Афонскую гору, либо в Иерусалим или на пустынный Синай». И так как я тогда уже ободрился, то и взял, поразмыслив, один красный цветок, один белый, а из среднего сосуда два желтых вынул. И думал так: «Пусть его любят все красивые жены и девушки; выйдет одна из них и богатая, что принесет ему за собой деньги большие». Чтоб их было побольше, я взял два желтых цветка. А белый я взял,

чтоб он был воздержен, чтобы Бога и нас помнил, чтобы блудной жизни не вел, но чтобы в честном браке с богатою и красивою девушкой жизнь бы свою благочестиво прожил. И как взял я эти цветы – так опять услышал я голос: «Теперь ты можешь идти». И еще сказал голос: «Что ты видел здесь и слышал, ты младенцу этого никогда открывать не должен; а жене можешь сказать от сегодняшнего дня чрез восемнадцать лет и один день; иначе погибнешь ты лютою смертью». И растворилась предо мной сперва белая, алмазная, дверь, а потом, когда я прошел все другие разукрашенные покои и храмины, растворилась и красная дверь, и вышел я опять в лес на холодный воздух. И скажу я тебе, жена, что когда я, вышедши из той пещеры, проходил по большим покоем, заметил я, что все рублище мое было покрыто многоценными камнями от тех звездочек, что, падая вниз, застывали яхонтами и смарагдами. Вспомнил я о тебе, жена, и смеялся, и думал: вот я ей за один раз и сына, и богатство несую; сын под рублищем скрыт, а рублище под алмазами и смарагдами. А все-таки, скажу тебе, как вышел я на

холодный воздух в лес, так мне стало легче. Вижу я – месяц светит, дорога к нашему дому видна, осел наш травку щиплет, а каштаны кругом хоть и велики и шумят они сильно, только вовсе не страшно, а как всегда они шумят. Я перекрестился, а потом оглянулся назад на красную дверь, из которой вышел, и вижу: нет ничего – ни красной двери, ни пещеры, ни света из нее. Поглядел я на месячном свете на одежду мою и провел по ней рукою – и осталась у меня на руке простая роса. Но я, скажу тебе, жена, не опечалился, а, вздохнув, все-таки благодарил Бога и раскрыл лицо младенца, чтобы поглядеть на него; а он открыл глаза и улыбнулся мне. Тогда я опять запахнул его и пошел по дороге домой с ослом и мальчиком. Вот какая это была великая тайна, а остальное ты знаешь сама. Ему же говорить этого не следовало.

Христо кончил, а Христина обрадовалась и сказала:

– Слава Господу Богу! А это ты, Христо, хорошо сделал, что два желтых цветка взял, а не один. Все, может быть, невеста побогаче будет.

Больше они об этом не говорили.

IV

Много ли, мало ли дней шел Петро дорогой, только пришел он наконец в большой город.

Домов было много – и высоких, и небольших, и богатых, и бедных, и новых, и старых; сады и церкви были; в лавках купцы торговали. На базаре толпа толпилась. Петро увидал в толпе старика усатого в черной чалме и одежде, хотя и из домашнего и толстого сукна, из такой же абы, какую носили и Христо, и он сам, однако гораздо новее и цветом темнее и лучше. Пред стариком стояли два молодца, оба оборванные, и нанимались ему в работники.

– Много ты, юнак[8], денег желаешь, – говорил старик одному молодцу.

– Нельзя меньше, господин Брайко, – отвечал ему молодец оборванный. – Работа у вас трудна.

Старик сказал другому оборванцу:

– А ты, Стоян, что желаешь?

Сказал Стоян ему свою цену, и ее нашел старый Брайко не малою.

– Вы дорого просите, – сказал он и отвернулся от них.

Тогда Петро подошел к старику и сказал ему, низко кланяясь:

– Возьми меня, чорбаджи[9], я не желаю многого. У меня нет ни отца родного, ни матери; добрые люди, муж и жена, меня воспитали, но они стареют уже, и я хочу теперь их кормить. А цену ты сам назначь, по твоей совести и правде. Потому что я вижу, что ты человек опытный и справедливый.

Понравился Петро старому и скупому чорбаджи; понравился его низкий поклон и лицо молодое, как у девушки чистое, и плечи широкие, и руки большие рабочие, и ноги могучие, и речь его умная. А больше всего понравилось старику то, что он и справедливым его зовет, и цены не назначает.

Он сказал Петро:

– Пойдем со мной!

И отвел его с собою за город в село свое.

Село было богатое, и чорбаджи Брайко был самый богатый в этом селе.

И Петро начал работать у него и пасти его овец, и тотчас же овцы в стаде стали плодиться-

ся; за это хозяин полюбил его больше своих сыновей и стал думать, как за него дочь свою Раду замуж отдать.

Рада была собою красива; годов ей было всего шестнадцать, и она была у отца уже всему дому хозяйка, так как ее мать умерла давно. Трудилась она, работала целый день, целый день отцу с братьями помогала. А в праздничные дни, когда на ней был новый красный передник, на руках серебряные запястья и серебряное ожерелье на шее, пряжки на поясе богатые, из-под белого платочка на висках розы или гвоздичка висели... Не мог человек сказать, что лучше: гвоздичка та, или роза, или пряжки богатые, или сама девушка.

Хозяин сшил для Петро новое платье, и Петро в праздник стал в коло[10] с девушками и молодцами плясать. Стали они с Радой рядом не тотчас, – оба стыдились, – а потом как-то переменили места и, не глядя друг на друга, положили друг другу на плечи руки по обычаю круговой этой пляски. И как почувствовала только Рада у себя на плече тяжелую руку Петро, сердце в ней затрепетало все, и сказала она себе: «Вот это муж мне!»

И долго они плясали рядом и не смотрели друг на друга.

Старик же Брайко радовался на них и думал о том, что у Петро овцы плодятся.

И Петро тогда думал: «Вот эта Рада жена мне, видно, будет. И овцы все будут мои... Пусть они плодятся...»

Но ошиблись Петро и Рада. Не была им судьба стать мужем и женой.

Напустил дьявол волков на овчарню хозяйскую; а Петро и собаки спали, и съели волки много овец.

Рассердился Брайко, ударил Петро за то, что спал и овец не уберег, и прогнал его со стыдом. Когда же Петро сказал ему о деньгах, Брайко отвечал ему:

– Глупый ты! Ты сам сказал, что я человек справедливый; много овец ты мне погубил в один месяц, какие же я тебе деньги дам?

Ушел Петро со слезами; жалко и стыдно ему было, что не успел он ничего для Христо и Христины заработать.

Шел он два дня, на третий устал и сел на дороге хлеб есть у фонтана...

Видит – едет поп простой, сельский, на му-

ле. Подъехал к фонтану и стал мула поить.

Петро помог попу напоить мула и поцеловал его десницу. Поп спросил у него:

– Откуда ты, дитя, куда идешь и отчего ты печален? Петро рассказал ему, как он служил у чорбаджи Брайко и как чорбаджи обидел и прогнал его. Поп пожалел его и сказал ему:

– Пойдем со мной; я возьму тебя при церкви крахтом-кандильанафтом[11] служить; будешь свечи и кадилы зажигать; будешь до света людей к утрени и литургии будить, стуча в двери скобкою железной с фонарем. И благословит Бог все твои начинания. А от меня за то будешь ты долю от треб получать. И когда я пойду первого числа каждого месяца по домам святить со святою водой и миртовою связкой кропить буду все стены у христиан, ты понесешь за мной чашу с освященною водой, и со всего, что опустят в эту воду христиане, я буду тебе десятую долю давать: с десяти пиастров один пиастр, и с пяти пиастров половина пиастра, и с одного пиастра десятую его часть, четыре пары[12]. А имя мне поп Георгий.

Петро пошел к попу Георгию и стал слу-

жить у него при церкви.

Прослужил Петро крахтом-кандильанафтом месяц у попа. Не проспал ни разу времени; вставал до свету и с фонарем в руке и по дождю, и по снегу зимою, темною ночью обходил улицы и будил христиан, стуча скобкой в дверь и восклицая приятным голосом:

– Пожалуйте в церковь.

И христиане вставали и говорили друг другу:

– Хорошего крахта-кандильанафта отыскал поп нам. И зовет он людей приятным голосом.

В церкви Петро, потупив очи, возжигал лампы и свечи и снова гасил их, обходя иконы по очереди и ни на кого не глядя. Свечу пред Св. Дарами (когда священник выносил их, выходя из северных дверей и вступая в царские) Петро нес хорошо, пятясь бережно задом все время, и кадил Дарам, и всегда осторожно обходил больных детей, которых матери клали на дороге священнику, чтоб он перешагнул через них со Св. Дарами. Люди сельские, даже и такие, которые в городах бывали и службу епископскую видели, часто хвалили

Петро.

И женский пол из-за решеток с хор высоких смотрел невидимо на Петро и говорил про него одобрительно.

Были и тут Петро соблазны.

Пришла к нему однажды худая женщина и сказала ему:

– Петро, прекрасный Петро! Ждет тебя этим вечером и этою ночью тебя ожидает Мариго, молодая жена кафеджи[13] нашего. Кафеджи по делу в дальний город уехал, и надежда она, чтобы принять тебя, шелковую голубую юбку с золотою бахромой вокруг и на головку безумную повязала платочек розовый, искусными шелковыми цветочками обшитый, цареградской работы. Такие платочки фанариотские[14] госпожи и купчихи богатейшие носят.

А Петро ответил на это ей грозно:

– Иди ты прочь от меня, худая ты женщина! Не нужна мне ни кафеджицина[15], не нужна мне и юбка ее голубая, ни платочек цареградский, ни красота мне ее не нужна. Я не гляжу на девиц и женщин; я крахт и кандиль-анафт целомудренный, при Божьем храме

служу и обхожу ночью все улицы с фонарем в руке, чтобы христиан звать в церковь, стуча скобкою железной в дверь и восклицая приятным голосом: «Пожалуйте в церковь!» И думаю лишь о том, как после первого числа месяца мы с попом пойдем по домам святить со святою водой и как я получу десятую часть со всего, что положат христиане в чашечку, которую я буду в руке держать, пока поп Георгий будет миртовою веточкой стены жилищ христианских кропить. И ото всего прибýtка моего я буду посылать воспитателю моему Христу и жене его Христине ровно половину.

Женщина ушла и больше его не беспокоила и не искушала.

И посчастливилось Петро в первое число наставшего месяца.

Пошли они по домам святить с попом Георгием.

Пришли к одному – две пары дали; к другому – два пиастра; к третьему и богатому – и этот большой белый талер со звоном и с гордостью бросил им в чашу. Пришли, наконец, к скупому человеку. Кропил поп и подал ему крест и десницу для поцелуя. Скупой человек

поцеловал крест и десницу попа, поклонился и сказал им: «Добрый час вам, идите по добру. А денег я тебе, поп Георгий, не дам сегодня, потому что ты не любишь меня и не так, как у других людей, кропишь. У других все мокро по стенам, а у нас ты едва брызнул от ненависти твоей ко мне, чтобы не было мне здоровья и прибыли».

Поп Георгий стал спорить.

А скупой хозяин, взяв толстую палку, сказал ему:

– Я тебя, если ты не замолчишь, по голове этою палкой ударю так, что ты и жив едва будешь!

Петро же, поставя бережно чашу со святою водой на землю, взял за руку оскорбителя, и палку ему сломил, и, повалив его на землю, сказал:

– Сейчас дай две лиры золотых, злой человек, священнику за труды, иначе я тебя убью как собаку.

Испугался скупой хозяин и дал две лиры. Так посчастливилось Петро в первый же месяц. Отдал ему поп Георгий десятую часть со всего, с двух пар, и с двух пиастров, и с сереб-

ряного талера, и с двух золотых лир. А Петро сейчас же половину всего отправил Христо и Христине с верным человеком, по обещанью.

Все люди хвалили Петро, за то что старца своего защитил и оскорбителя наказал, и поп Георгий полюбил Петро сильно и сказал ему: «Я тебе теперь пятую часть, а не десятую, буду со всего отдавать и желаю, чтобы ты вместо сына был при мне, пока я жизнь кончу. Я стар и вдов, и детей не имею, и дом мой, и мула моего, и овец, и посуду всю, и одежду я тебе завещаю; ты тогда продашь все это и возвратишься к своим».

Но не была судьба Петро и у попа долго жить.

Пришел однажды в село янычар[16] ужасный. Колпак на нем был красный с хвостом красным же сзади; и руки обнажены выше локтя, и взор страшный, и усы длинные, и за поясом золотым у него был нож дамасский драгоценный, и за плечами два страшных крыла, как у дракона.

Стал он над христианами издеваться; и в церковь вошел, и воскликнул: «О, идолопоклонники вы неверные! Вы иконам поклоня-

етесь писаным».

Подошел он к иконам и стал концом ятага на своего глаза святым выкалывать, чтоб они на людей не глядели, чтобы хоть как-нибудь христианскую святыню оскорбить и унижить.

Не стерпел поругания Петро и ударил его прежде по руке так сильно и неожиданно, что дамасский острый ятаган, золотом испещренный, вылетел из злодейской руки и далеко упал, звеня, на каменный пол. А потом (когда страшный янычар к нему, угрожая, лицом обернулся) вытянул он вдруг руку свою ладонью вверх и прямо под сердце, в живот поверх пояса угодил янычару так, что рука его вся по локоть в живот янычару вошла, и упал янычар с воплем предсмертным навзничь, и затылком ударился о камень. А Петро из растерзанной груди его вынул окровавленную руку и лизнул немного крови врага, чтоб ободриться и не потерять головы от страха [17].

V

Когда люди увидали, что янычар упал мертвый, они все испугались, разбежались из церкви и позаперлись в домах своих. Мужчи-

ны вздыхали и говорили: «Боже! Боже! Что теперь будет!» Иные сидели молча, иные даже попрятались, в очаги влезли и, на руках и ногах там держась, долго висели, другие в пустые цистерны скрылись, ожидая, что придут агаряне[18] и сожгут село их, и церковь с землею сравнивают, и молодых дочерей и жен в плен уведут, детей их возьмут в рабы, чтобы потом янычарами свирепыми воспитать, а их самих на кольях всех, вокруг села воткнутых, в лютых мучениях уморят. Женщины плакали и причитали, и выли, ломая руки и падая на землю, рвали на себе волосы, одежды и лица себе с отчаяния ногтями до крови раздирали.

Только Петро, лизнув крови врага, головы не потерял и хотел выйти из церкви, и уйти из села, и скрыться заблаговременно в горы и лес.

Подошел он к дверям церковным; но они были уже заперты снаружи. Их запер, уходя, поп Георгий, и когда Петро увидел его из окна и стал просить старца, чтобы выпустил его, поп Георгий сказал ему: «Ты очень хорошо сделал, мой сын, что убил злого врага нашей

веры, но если я тебя не выдам агарянам за это, то меня, старика несчастного, они удавят позорно и тело мое поруганию предадут. Поэтому я тебя выдам начальству».

Заплакал Петро, но делать было нечего; на окнах были решетки толстые, и уйти ему было нельзя.

Пошел тогда старик кликать клич по селу, и созвал людей, и ободрил их, и сказал им громко: «Люди-христиане, отчего вы все так напуганы? Не бойтесь, я говорю вам. Пойдемте, свяжем прекрасного Петро, нашего крахта-кандильанафта, и предадим его начальству неверному, чтоб его удавили, а не меня. Ибо я за него поручителем».

Образумились люди, отворили двери, связали Петро и отвели его в город.

В городе сарацныны[19] судили Петро за убиение янычара и присудили повесить его в пятницу на большой площади, на ветви большого платана.

Было это пред самую Пасхой, и благочестивые христиане по тюрмам к празднику, для спасения души своей, посылали хлеб, елей, рис и баранов для раздачи плененным, за-

ключенным людям.

В то время сидел и Петро в особой темной и тесной комнатке на сырой земле, в тяжких цепях скованный, молясь угоднику Николаю и апостолу Петру и проливая слезы над черною судьбою своей.

Пришел в тюрьму тогда один великий купец христианский, чтобы при себе велеть раздать милостыню заключенным; имя ему было Хаджи-Дмитрий[20].

Был он в городе великий богач, и дружбу большую имел с самим князем того города, и много денег князю давал, когда тому было нужно. Он носил каждый день длинную шелковую одежду из дорогого сирийского шелку и шубу многоценную, всю из куницы и соболя, и колпак на голове его высокий также из куницы и соболя был.

Хаджи-Дмитрий сказал стражам:

– Покажите мне этого разбойника, крах-та-кандильанафта, прекрасного Петро, который благородного агу[21] нашего умертвить осмелился. Покажите мне его, чтоб я мог ему в очи плюнуть за это и наругаться над ним.

Стражи с радостью впустили Хаджи-Дмит-

рия к Петро. Хаджи-Дмитрий поднес к лицу его фонарь, и когда Петро приподнял на него прекрасные очи и сказал ему:

– Эффенди[22], спаси меня! – Хаджи-Дмитрий плюнул ему три раза в очи и воскликнул:

– Пусть Св. Николай и апостол Петр спасают; а я тебе не спаситель, ибо ты нашего благородного агу умертвил!

И, громко ругая его, закричал слугам своим, которые за ним корзины с пищей носили:

– Этому негодяю крахту-кандильанафту прекрасному не давать ни крохи от хлеба нашего, ни косточки от мяса нашего и ни капли еля!

И вышел из тюрьмы хитрый купец.

Тотчас же пошел он к князю, поцеловал край его одежды и сел у ног его на ковре.

А князь был гневен в тот день и молчал.

И Хаджи-Дмитрий долго не молвил слова ему, чтобы свою душу не погубить.

Наконец грозный князь сказал ему:

– Что ты молчишь? Разве ты не знаешь моей к тебе милости? Чего бояться тебе?

– Государь мой и владыко мой! – воскликнул Хаджи. – Бесславности твоей разве неиз-

вестно, что нищий смелее богатого человека?

– Что эти слова твои означают? – спросил князь благосклонно.

Хаджи-Дмитрий объяснил:

– А то они означают, что если б я не богат был твоими милостями, то я бы и не трепетал так утратить их. И трава полевая к солнцу блестящему цветком обращается и без теплоты его жить не может. И курица, когда пьет воду из лужицы малой, к небу после всякого глотка голову свою куриную поднимает, чтобы Бога за утоление жажды благодарить; а у меня разве куриная голова, что я забуду, как я твоею добротой живу и в городе всеми почитен.

Князь велел ему сесть поодаль на диван, и чубук приказал ему дать, и спросил, что нового.

– Мало нового, владыко мой! Все старое, – сказал Хаджи. – Одно только есть новое: привезли трех девушек из черкесских дальних гор. Одной 16 лет, другой 15, а третьей 14. У одной волосы черные, как сталь блестят, у другой как лен, а у третьей красные, как огонь. У черноволосой глаза голубые, а у бело-

курой глаза черные, а у третьей, рыжей, такие зеленые, как смарагд. Я таких и не видел. Имя первой Гюзель, то есть красивая, вторую зовут Назик – нежная, а третью Тюрлю-Тюрлю – разная-разная, потому что она очень любопытная и разные вещи знает, чтобы веселить и смешить человека.

Повернулся к нему князь, и велел ему еще поближе к себе сесть, и другой чубук приказал ему подать, золотом весь оплетенный, с большим янтарем, который был жемчугом окружен снизу.

А Хаджи продолжал:

– И ножки у них у всех трех малы и вогнуты в ступне хорошо. Я водой ноги им мочил и мокрыми ногами на пол их ставил и увидел, что ножки их в подъеме высоки и не плоски. И ночью спят они – не храпят, и покорны сердцем. Гюзель из них на тамбуре[23] играет, Назик песни поет, а Тюрлю-Тюрлю пляшет искусно, бряцая серебряными звонками.

Князь опять задумался и сказал Хаджи:

– Которую выбрать?

– Не выбирай, господин мой милостивый... Зачем тебе выбирать? Выберешь ты ту, кото-

рая пляшет, без песни и без тамбуры как она будет плясать? Выберешь одну тамбуру без песни и пляски, – один звон пустой без слов для души и без очей услаждения будешь слышать. Выберешь песельницу одну – надоест тебе и она. Не выбирай, они все для тебя приготовлены... Прими от раба твоего смиренный дар и не гневайся...

– Приму, – сказал князь.

Послали тотчас за девушками, и когда подняли на дверях больших занавес, то вошли они разом все три в эти двери: одна черная, с голубыми очами, другая белокурая, с черными, и третья рыжая, огненная, лучше всех, с очами, смарагду подобными; одна в пурпуровой одежде с золотом, другая в голубой с серебром, а третья в светло-зеленой с серебром и золотом вместе. Гюзель тотчас же села на ковер и играть на тамбуре стала; Назик песню запела:

– Скажи, о скажи мне, прекрасная птичка... Скажи, соловей мой вечерний... Есть ли на свете всем князь молодой Храбрее льва разъяренного, и змея мудрее, И голубя кротче, и розы душистей, И крепче железа, и звезд пре-

светлее?.. – Я его вижу! – сказал соловей.

А Тюрлю-Тюрлю, приподняв руки с серебряными звонками и загнув назад голову, топнула слегка ногой и еще не успела плясать начать, как князь уже обратился с радостью и любовью к Хаджи-Дмитрию и сказал ему:

– Друже мой, проси ты у меня, чего хочет сердце твое, я все исполню, но проси разумного и возможного, дабы я и вперед тебе верил... Ты не человек, а как бы сад прекрасный, так с тобой весело мне всегда!

Хаджи-Дмитрий поклонился ему низко и сказал:

– Я, господин мой, неразумного просить у тебя не буду. А прости ты, ради меня, слугу твоего, Петро, крахта-кандильанафта, который агу нашего храброго умертвил. Он по глупости и по юности так поступил. Он мне нужен для дела в доме моем; поэтому не для него, а для меня пощади его жизнь.

Князь охотно согласился и, тотчас же достав печать свою, помазал ее малым пальцем с чернилами и, приложив ее к чистому листу бумаги, отдал ему этот лист и сказал:

– Иди! Видишь, как я верю тебе. Прикажи

написать на этом листе прощение Петро. Иди скорее, пока его не повесили; а я один тут посмотрю, как они играют, поют и пляшут. Иди, спаси душу, – это дело доброе!

А Петро между тем уже привели на площадь и поставили на деревянную скамью под ветвью большого платана, и шею его проделали уже в петлю, и стали кричать народу, что он за человек и за что его вешают.

Петро уже в темнице осушил слезы, и хотя ему было очень жалко умирать, однако он, помолившись усердно, хотел не посрамить себя пред людьми и сбирался уже сам оттолкнуть ногой скамью и повиснуть, как вдруг раздалась команда громкая: «Расступись, толпа!» И расступилась толпа, и выехал Хаджи-Дмитрий на белой княжеской лошади, вся в кистях, и окруженный слугами княжескими и арапами. В руках его был фирман прощения.

Он издали махал им, и люди, шедшие с ним, кричали:

– Стойте! Стойте! Наш благоутробный[24] князь приказал простить прекрасного Петро, того молодого кандильанафта, который агу

убил. Вот как милосерд наш князь! А вы, собаки, смотрите, – не всякий раз вам такое прощение будет!

Так спасся Петро. С него сняли петлю, и Хаджи-Дмитрий возвратился в дом свой, ведя Петро за руку чрез весь многолюдный город.

VI

Стал жить Петро у Хаджи-Дмитрия, купца богатейшего. Дела его купеческие делал; счеты ему сводить помогал; на одну пару его не обманывал. Гневен и бурен дома был Хаджи-Дмитрий и на руку слишком был скор. Многих слуг он изгонял в гневе от себя понапрасну. Но Петро был умен. Когда Хаджи-Дмитрий в гневе обзывал его ругательными словами, Петро молчал, потупив очи и сложив на груди крестом руки, и утихал купец, отходя от него прочь. Бил он его и рукою своею, и железом драгоценным. Петро наклонял голову пред ним и говорил: – Бей меня, бей, господин наш честный; если я виноват – это мне наказание; а если я прав – это мне на будущее урок, а тебе услада и утоление!

И снова отходил от него в смущении Хаджи-Дмитрий. И полюбил Петро купец

всею душой. Стал он звать его «сын мой!» и сказал ему:

– Теперь весною у нас здесь обычай шелковых червей разводить. Я тебе отдам под начальство весь бюджетлык[25] мой, величайший в городе нашем, и всех слуг, и рабов, и рабынь моих, чтоб они под командою твоей шелковичные ветви для червей резали по росту их, для маленьких – самые маленькие, для средних червей – средние, а для крупных – самые большие ветви резали бы. И да исправит Господь дело рук твоих. А когда выведутся черви все без болезни и мора на них и совьют коконы и когда выйдут из них бабочки икру [26] разводить благополучно, и дам тебе пятьдесят червонцев за труд, и со всего моего прибытка, когда нагрузу я многие большие корабли шелком, отдам тебе десятину[27].

Поклонился Петро в ноги Хаджи-Дмитрию, купцу богатейшему; а Хаджи-Дмитрий велел ему снять те темные и простые одежды, в которых Петро у попа Георгия ходил по ночам будить христиан, стуча скобкою железной в двери и восклицая приятным голосом: «Пожалуйте в церковь!», до тех пор пока старец

не предал его, и вместо этой простой одежды Хаджи-Дмитрий одел его в одежды яркие и широкие, какие сам носил, и шубку господскую на него с откидными рукавами, и колпак надел на него, небольшой, но хорошего меха.

И вывел его пред всеми домашними своими, пред женою молодой (всего год тому назад повенчанною), и пред слугами, и всеми рабами своими и сказал им всем:

– Вот помощник мне и начальник грозный всем вам. Кто ему покорен будет, тому и я друг; а кто против него пойдет, тот и мне враг будет. Я сказал, а вы помните это!

Еще прекраснее стал молодой Петро в господской яркой и широкой одежде. Принял он вид иной, властительный и строгий, и стал за всем домом купца и беджеклыком его смотреть.

Труд его благословен был, и черви кишмя кишели по шелковичным веткам, дотла объедая их в беджеклыке Хаджи-Дмитрия, богатейшем в городе. Коконів и желтых, и белых было множество.

Вывелись бабочки, и повязались попарно

на полотне, и икры дали видимо-невидимо, самого лучшего качества.

Не было на червей в этот год ни болезни, ни мора.

Радовались оба, и Хаджи-Дмитрий, и Петро, на них. И Петро день и ночь рассчитывал, сколько он может послать своим воспитателям, когда Хаджи-Дмитрий нагрузит шелком дорогим корабли большие и продаст его в чужих городах за белым морем.

Однако враг рода человеческого не хотел дать отдыха сироте и внушил молодой и честной супруге Хаджи-Дмитрия к молодому Петру греховное чувство.

В тот самый день, как Хаджи-Дмитрий вывел его в господской одежде яркой и широкой пред всеми домашними и сказал: «Вот помощник мне и начальник всем вам», так запала эта искра ей в сердце, и она сказала себе в сердце своем: «Люблю я этого юношу, и пусть жестокая смерть постигнет меня, а я совращу его!»

И начала молодая купчиха призывать его беспрестанно по всякому ненужному делу, отрывая его от нужной работы. Она говорила

ему тогда:

– Прикрепи завесу эту над моим окном, добрый Петро, чтоб я радовалась на глаза твои. Я других слуг не могу видеть. Стоян ростом очень велик и обширен и всю комнату наполняет; у Ставри глаз кривой; а у Яни лицо разбойничье – так что ночью он мне снится, и я боюсь, и кричу на ложе моем супружеском, и господина нашего, Хаджи-Дмитрия, беспокою. Я желаю, чтобы ты у меня работал.

И хотя у Петро были в доме и в бедже клыкe дела гораздо важнее этого, но не смел он противоречить госпоже своей и повиновался, прибывая ей завесу над окном.

А она, пока он работал, все ходила вокруг него и сама гвозди ему подавала, краснея.

А Петро не замечал сначала, что она краснеет.

Потом сказала ему однажды госпожа:

– Красив ты был, Петро, и в бедной одежде, а в этой ты много лучше даже мужа моего Хаджи-Дмитрия.

– Это лишь доброта твоя ко мне, а не правда, госпожа моя! – сказал ей смиренно Петро и пошел от нее по делам своим.

Обезумела от страсти жена Хаджи-Дмитрия и с утра и до утра думала о нем. Мысли ее кипели и бились, как морская волна. Во сне она его видела и кричала громко во сне. Просыпался и Хаджи-Дмитрий и спрашивал ее:

– О чем ты кричишь, моя милая, чего испугалась ты?

– Ах! Я видела во сне, мой друг, что тебя злые враги умертвить хотят...

– Спи спокойно, – говорил ей купец, – это значит, мне долго жить.

И сам засыпал спокойно, думая: «Вот как она меня любит!»

А она думала о Петро.

Потом она вставать по ночам стала и, открыв окно, сидела и в сад, вздыхая, смотрела.

– Ты не спишь? – говорил ей муж.

– От жара, прости мне, не сплю, – говорила она. Наконец однажды, позвав Петро к себе, она сказала ему:

– Слезам моим нет меры, Петро; я бы желала в горы во мраморные уйти, и лежала бы я там все ничком, и рыдала бы до тех пор, пока стал бы там от слез моих ключ холодный и озеро чистое. И пришел бы ты той воды ис-

пить, и приехал бы ты в синем озере искупаться... А я бы издали закричала тебе: «Не хочу веселиться, да и жить не хочу, пока не скажешь ты мне... что я для тебя лучше серебра и золота, лучше матери родной, лучше сладкой жизни самой...»

Ужаснулся прекрасный Петро и ответил ей так:

– Не годится тебе говорить, госпожа моя, такие слова. Я мальчик простой, сирота, а муж твой великий купец, и мой благодетель, и тебе законный супруг. Твои слова – грех ужасный, и ты, я вижу, дьявола в сердце свое без борьбы допустила. Поэтому я убегу от тебя и все открою твоему мужу, ибо он спаситель жизни моей, и я оскорбления имени его не потерплю.

Но она, притворив дверь, непустила его, достала из сундука кипарисного все свои драгоценности: ожерелье, запястья[28], и серьги, и кольца, рубины, алмазы, бирюзу и кораллы, пала к ногам Петро и сказала ему:

– Жестокий, возьми все эти сокровища мои! Ты сирота, и купишь ты на них себе земли, и дом, и овец, и все что хочешь. Возьми

все, только не говори мне так грозно, а улыбнись мне любезно и пожалей ты меня окаянную. Я и сама не рада злой муке моей!..

Петро посмотрел на сокровища, пожалел ее, улыбнулся и, взяв ее руку, сказал ей:

– Добрая госпожа моя! Хорошо ты сказала, что я сирота и беден. Если ты точно так меня жалеешь и любишь, отдай мне все эти запястья, ожерелья, кольца и серьги – без греха. Я продам их и куплю себе дом хороший и земли, чтобы кормить и покоить Христо и Христину, моих воспитателей. И я тогда скажу тебе, что ты для меня лучше матери, лучше золота и серебра...

Когда услышала молодая купчиха разумные ответы Петро, озлобилась она сильно и ударила Петро в лицо, говоря:

– Так ты, несчастный, золото любишь, а не меня, – и как были на руке ее дорогие перстни, то расшибла она ему лицо до крови.

Петро ушел, а она немедленно побежала к мужу и сказала ему, что Петро хотел ограбить ее драгоценности; привела мужа к себе в комнату и показала ему запястья, ожерелья и серьги, которые она сама же рассыпала пред

Петро, и сказала мужу:

– Видишь, я застала его за этим делом и, отнимая у него все эти вещи, дары твоей любви, ударила его в лицо, и у него пошла кровь.

Хаджи-Дмитрий ужасно разгневался и закричал:

– Приведите мне сюда этого несчастного; я его при себе умертвить велю.

Петро привели, и хозяин приказал его крепко бить по пятам. И когда Петро хотел просить позволения вымолвить только слово, то гневный Хаджи-Дмитрий не допускал его до этого, восклицая:

– Не говори ни слова, неблагодарный человек, которому я жизнь спас. Я ее спас, я ее у тебя и отниму.

Насытив свое сердце истязаниями, Хаджи-Дмитрий хотел заключить Петро в тюрьму, чтобы, по совершении над ним суда, приговорили его снова к казни, но жена Хаджи-Дмитрия пожалела его и в то же время боялась, чтобы на суде не раскрылась какая-либо истина. Поэтому она, поклонившись мужу, стала просить его, чтоб он отпустил Петро, не заключая его в тюрьму.

Хаджи-Дмитрий согласился не без труда и велел его только с шумом и позором гнать из дома по улицам. Один из слуг, желая приобрести себе дорогое платье, которое было на молодом управителе, сказал хозяину:

– Господин, не снять ли с него хорошее платье и не выгнать ли его в том рубище, в котором ты привел тогда его из тюрьмы?

Но Хаджи-Дмитрий на это не согласился и сказал:

– Нет! В богатом платье ему будет больше позору. Пусть в нем скитается и ищет пропитания. В бедном его не так люди заметят, а в этом все будут на него дивиться.

И прибавил еще:

– Гоните его с шумом скорее, чтоб я не умертвил руками его сам.

И слуги, отворив большую дверь на улицу, стали с криком, проклятиями и побоями гнать Петро на улицу. И все соседи и соседки смотрели из окон и дверей, смеялись, и даже дети бежали за ним, кидая в него камешками, и кричали: «Юхга![29] юхга!»

VII

Петро ушел подальше от того места, где

жил Хаджи-Дмитрий, сел на камень под деревом платаном и стал плакать черными слезами.

В это время ехал мимо епископ в рясе на прекрасном муле. Он был человек уже престарелый, и около него справа шел юноша и смотрел, чтобы мул не шелохнулся ни направо, ни налево и чтобы не уронил епископа. Впереди ехал телохранитель с оружием, а сзади шли слуги без оружия.

Ехал еще писец в широких одеждах и с чернильницей, заткнутой за красным поясом.

Этот писец был родной племянник епископа.

Епископ увидал Петро, пожалел его, что он плачет, и велел юноше остановить мула... Петро подошел к руке его, и епископ спросил:

– Отчего ты, сын, сидел под деревом платаном и лил черные слезы?

– Я скажу тебе, деспот [30]-эффенди мой, – отвечал Петро. – Только не здесь, при всех, а у тебя в доме исповедую все по истине и по правде.

Епископ согласился и велел ему идти по

левую руку около мула. Петро шел, и так они приехали в епископский дом, где была церковь – митрополия[31] на большом дворе.

Епископ, возвратившись домой, сел на софу, велел Петро стать пред собой и во всем исповедывал его.

И Петро сказал ему:

– И еще скажу тебе, владыка, что молодая кровь моя очень душит меня и днем и ночью, и мне от этого великое стеснение в жизни моей, потому что все девушки молодые и замужние женщины за меня убиваются; мне же это соблазнительно, а я не хочу взять на душу греха.

Епископ тогда дал ему целовать свою десницу и сказал ему так:

– Достоин ты, сын мой, великого восхваления, как за то, что пошел на тяжелый труд и чужбину для того, чтобы приобрести временный покой в старости благодетелям твоим Христо и Христине, а также и за то, что ты хочешь добродетелен быть и бежишь греха. Приими за это все сей скудный дар от меня и пошли его своим воспитателям.

Епископ дал ему две золотые монеты; а ко-

гда Петро упал ему в ноги и благодарил его, епископ сказал еще:

– Отныне принимаю я тебя в дом мой. Ты будешь начальником над всеми моими телохранителями, и я велю снять с тебя широкие эти одежды и одену тебя в воинские и короткие. А ты не обнаруживай никому в жилище этом, что я тебе дал золотые, ибо враг рода человеческого силен в нас всех, и есть везде худые люди, которые в зависть впадают легко. Помни это! Скажу тебе еще, что здесь тебе будет легче, ибо ты в митрополии моей, кроме старой параманы[32], сестры моей, и двух монахинь почтенных, никакого лика женского не встретишь. Еще скажу я тебе, что здесь у меня ты можешь больше прежнего и божественным предметам обучиться, уставам и молитвам; но знай, что после этого и взыщется с тебя больше.

И епископ благословил его еще раз и отпустил.

Одели Петро в красную куртку с откидными рукавами, и в голубые шальвары, и в красные башмачки с загнутыми носками, а на носках были пушистые шишки пестрые из

разного шелка, величиною с яблоко; и все по швам было расшито золотом и черным шнурком. Дали ему также в руку большую трость – разгонять народ, когда не будет места епископу двигаться и свершать богослужение; а за кушак пестрый дамасский[33] нож и два пистоleta серебряные заткнули, и сам епископ, увидав его, усмехнулся, дал ему целовать десницу[34] и сказал:

– Вот теперь хорошо!

А Петро думал: «Теперь уж никто меня не обидит и никто соблазнять не будет. А я думал, что оставил меня вовсе Бог».

Оба же те золотые, которые ему дал епископ, он спрятал и сказал себе: «Зачем я буду торопиться посылать благодетелям моим Христо и Христине эти деньги? Они и так привыкли жить. У них хижина есть. От этих золотых им много перемены не будет в счастье; а я оттого и сокрушался, что все без денег уходил из тех мест, в которых меня обижали и из которых меня прогнали. Лучше я себе оставляю эти деньги на случай несчастья!..»

Стал жить Петро тогда у епископа хорошо.

Другие телохранители ему повиновались; он стал теперь похитрее прежнего и стал думать, что не епископу одному в доме угодить надо, а всякому. И начал стараться. Старухе парамане, сестре епископа, говорил:

– Не трудитесь, почтенная госпожа сестрица епископа. Позвольте мне за вас подмести это! – и брал веник из рук ее и подметал сор.

Другие же телохранители говорили ему:

– Тебе ли, воину и начальнику нашему, подметать сор? Тебе ли мараться? Это дело рабов и женщин. Это для нас для всех оскорбление.

Петро отвечал им:

– Старость я очень уважаю, вот что!

И замолчали другие воины и епископские телохранители.

И чтоб они любили его, он из тех двух золотых уделил часть на угощение их и сказал им:

– Будем все побратимами[35]. И сказали те ему:

– С радостью!

Тогда призвали священника, и он прочел над ними молитву; они связались все куша-

ком[36] и поклялись в вечной дружбе и согласии.

И монахиням старым угодил Петро; и все приходящие по делам любили его, ибо он у всех спрашивал вежливо, что им нужно, и говорил:

– Погодите извольте здесь, а я пойду скажу владыке!

Все говорили:

– Ласковый ясакчи[37] этот новый у епископа. При нем лучше стало нам всем! А уж красота его невообразимая, и словами нет возможности сказать, как он прекрасен!

Смотреть на него так приятно, как в киоске[38] в тени на берегу моря тихого и на легкой ветерке кушать шербет с ключевой водой, и курить персидский тюмебки в наргиле [39] хрустальном, и ничего не слышать, как только клокотанье воды в наргиле.

Племянник же епископа, который у него главным писарем был, и его мать парамана возненавидели Петро за то, что его стали любить в доме все: обе старые монахини, и все телохранители, и слуги владыки, и сам владыка, и все просители, которые приходили по

делам и тяжбам своим к владыке.

Стали они перечить Петро во всех его делах и оскорблять его. Приходили бедные люди ко вратам епископским за подаянием. Петро шел ко владыке и говорил ему:

– Благослови, владыка, слепой женщине подаяние из твоей пастырской сокровищницы. Она очень несчастна.

Владыка давал ему милостыню для слепой женщины. Сам вставал с софы, сидя на которой четки перебирал, вздыхая о преклонности лет своих и о страшном судилище Христовом, сам вставал и доставал подаяние из кованого кипарисового сундука.

А злой писарь и его мать парамана восклицали:

– Довольно тебе обнажать[40] престарелого владыку нашего! Он уже в детство впал и все раздает безумно. Что нам, родным, после него останется? И мы стареем на его службе.

Петро же отвечал писарю, кланяясь:

– Господин мой писарь и племянник владыч-ний, прости мне, я человек подначальный. Если ты велишь всех гнать от ворот епископских, то и тогда я гнать их без благосло-

вения епископа не могу. А посмотрю, что сам старец скажет.

Тогда злой писец и племянник владычний скрежетал зубами на него, и отходил прочь, и говорил:

– О! Да будет три раза проклят тот черный день, когда этот красивый побродяга переступил порог этой митрополии.

И его мать парамана проклинала также Петро. Однажды пришел кто-то и сказал писарю:

– Вот у этого хлебопашца жена троих разом родила, и все живы.

Хлебопашец был не очень беден, и слухи были, что у него деньги зарыты в земле.

Писарь обрадовался и, призвав этого хлебопашца, сказал ему:

– Троих родить разом не закон! Это от дьявола. Если ты не дашь мне десять золотых, я владыке донесу, и он разведет тебя с женою! Иди домой и принеси.

Хлебопашец пошел домой в горести, потому что он жену очень любил и жалел, и, не зная, что делать, принес несколько золотых.

Увидав его в горести, Петро спросил у него:

– О чем ты, добрый христианин, убиваешь-ся?

Хлебопашец сказал ему о своем несчастий, и Петро доложил всю правду епископу.

Епископ сам позвал хлебопашца и утешил его, а на племянника так разгневался, что долго видеть его не хотел и говорил:

– За десять золотых ты мою честь и душу мою сатане продаешь, бесстыдный ты лжец, отойди от меня и скройся, мучитель ты моей слабости и престарелых дней моих ты отравя!

После этого с раннего утра и до ночи писец и его мать размышляли, как бы удалить Петро из дома.

И искал он случая обвинить и оклеветать Петро перед епископом, и не находил; Петро все оправдывался. Наконец они с матерью пришли к епископу, стали перед ним оба, и сперва мать сказала ему:

– Говори ты, ты мужчина!

А сын ей:

– Нет, ты говори, ты мне мать!

И начала она:

– Владыка и брат мой по плоти! Я не могу больше выносить лицезрения этого маль-

чишки, Петро прекрасного, и прошу тебя изгнать его из дома нашего. А если ты не согласишься изгнать его, то благослови мне уйти от тебя и никогда в дом твой не возвращаться. И не я буду, а другая старуха, чужая тебе по плоти, изготовлять любимую пищу твою, и другая будет твои святительские ноги мыть, и другая пусть ложе твое стелет, на котором отдыхают престарелые члены твои, и другая варенье для угощения гостей сановных будет варить в твоём доме: желе из айвы, шербет розовый и кофейный, и розовый лист, и орехи с гвоздикой, и другая пусть вокруг чела твоего повязывает чёрный печатный платочек поверх клобука[41]. Я сказала, владыка, а впрочем, воля твоя.

После нее начал говорить сын ее, злой писарь:

– Владыка святой и по плоти мой дядя, я ненавижу твоего ясаки Петро всем сердцем моим и всею душою моею. Удали ты его с позором из дома этого или мне благослови уйти от тебя. И пусть другой писарь и чужой тебе по плоти человек заботится впредь о сборе податей с народа в пользу твоей казны; пусть

другой избавляет тебя от распрей с начальниками агарянскими и ходит по судилищам их, кланяясь и снимая башмаки у проклятого порога их, пусть другой ссорится с сельскими чорбаджиями и запирает в тюрьму их, когда они подати поздно платят, пусть другой писец все бумаги и грамоты тебе готовые приносит на подпись, и думает за тебя, и ходит, и голодает, и зябнет, пока ты куришь наргиле или молишься в одиночестве о спасении твоей души престарелой, сидя на широкой софе и прислоняясь к подушке из сирийского пестрого шелка, у большой медной жаровни на львиных лапках, которую три человека едва поднять могут руками (так она велика и вся литая медная). Я за тебя, пока ты молился и отдыхал, брал на свою окаянную душу все грехи твои, и ссоры, и ненависть, и любостязание, и обиды, и ругательства бедным людям, и угождения неправедные сильным князьям Мира сего. Отныне же пусть другой это все делает, а меня, владыка, отпусти, если не хочешь Петро изгнать от себя.

– Что он вам сделал, этот юноша? – сказал епископ с большим сожалением, но согласил-

ся на изгнание Петро.

Тогда обрадовались злой писарь и его мать и пошли гнать Петро; велели ему снять одежду золотую, и оружие, и пояс, в котором были спрятаны у него деньги, и денег его ему не отдали, но дали ему самую простую ветхую одежду и велели идти куда хочет.

– И если и в городе этом ты останешься, то жив не будешь! – сказала ему сестра епископа.

Петро ушел далеко от города в пустынное место, и поколебалась в нем в первый раз его вера. Он сказал себе: «Не увижу я правды никогда на земле живых!» Упал лицом на землю и не хотел уже ни жить на свете, ни молиться.

Он думал: «На что, если так, молиться?» И не поднимал лица от земли, на которой лежал, пока не услышал топота конского по камням; тогда он поглядел, кто едет, и увидал, что едет богатый франк-купец.

Платье на нем было узкое и непристойное, такое, как носят всегда франки, чулки и башмаки, и на голове его был большой трикантон [42], точно каик[43] морской. Лицо его было

безобразно и злобно, и из очей блистали молнии.

Он остановил коня и сказал Петро:

– Дитя души! Хорошо ты делаешь, что молиться не хочешь. Это все напрасно. Но я человек хороший и жалею тебя. Хочешь, я возьму тебя к себе на фабрику и, если ты молиться и там не будешь никогда, и в церковь ходить не будешь, и постов содержать не будешь, то я с тебя мало работы потребую. Ты будешь у меня только один раз в день в большой лес ездить на телеге и привозить оттуда по три полена. И если ты когда-нибудь захочешь уйти, проси у меня что хочешь, я все дам тебе. Зовут же меня мусье Франко.

Петро согласился с радостью и пошел за мусье Франко. А это и был сам дьявол, и Петро не понял этого.

VIII

Стал жить Петро у мусье Франко. У мусье Франко около моря был большой завод с длинными, черными трубами, из этих труб целые дни и ночи дым черный поднимался, и пламя поднималось, и искры летели. Место было низкое, болотистое, все в высоких камы-

шах, гнилое и самое скучное. С раннего утра и до самой поздней ночи убивались христиане у Франко в огне и в пламени неугасимом. Лица их были худые, желтые и печальные. Они ничего не говорили. Мусье Франко заставлял их работать по воскресеньям и по другим праздникам; только и отпускал их на Пасху, на Рождество Христово, на Успение Божией Матери и еще на три праздника: на Николин день, на Св. Димитрия Солунского и Св. Георгия Победоносца. В эти дни он не смел не отпускать их; в эти дни он боялся.

Петро пожалел работников и спросил у одного из них:

– Ты, христианин-человек, за какую цену по воскресеньям и по праздникам трудишься и такой грех на душу здесь берешь?

– За великую, за великую цену, Петро! – отвечал ему работник и отошел от него.

Петро спросил другого. И другой точно также сказал ему:

– Мы, Петро, трудимся здесь за такую великую цену, которую избави тебя Господь когда-нибудь взять.

И тоже отошел от него.

На первый же день мусье Франко приказал Петро ехать, по условию, в лес за поленьями, и указал ему, какую лошадь в телегу запрячь, и приказал ему:

– Не забудь, не говори лошади «э!», а говори ей «ну!».

Петро поехал в лес, срубил три полена и поехал домой.

На возвратном пути он подумал: «Скажу я лошади «э!» и посмотрю, что будет!»

И сказал: «Э!».

Как только он сказал «э!», лошадь сейчас обратилась в чорбаджи Брайко.

Увидал Петро своего бывшего хозяина и спросил у него:

– Как ты это здесь, чорбаджи?

Чорбаджи отвечал ему:

– Вскоре после того, как я прогнал и обидел тебя, я умер. И теперь моя душа здесь мучится за мою скупость и за то, что я у многих людей бедных, так же как и у тебя, деньги съел, иногда обманом, иногда лихвою, иногда хитростью иною... За это мучится душа моя.

– Хорошо! – сказал Петро. Взял полено и бил его крепко; потом простил и сказал «ну!».

Чорбаджи опять стал лошадей и отвез его на завод.

На второй день мусье Франко приказал ему взять другую лошадь – черную и ехать опять в лес за тремя поленьями. И опять сказал ему:

– Не забудь, не говори лошади «э!», а говори ей «ну!».

Петро поехал; срубил три полена, а на возвратном пути сказал опять «э!» и ждал, что будет. Увидал он тотчас же перед собой в оглоблях черную спину попа Георгия. Поп сказал ему:

– Вскоре после того, как я предал тебя агарянам, милый сын мой, я умер, и за то, что я не тебя одного, а и других еще из малодушия и боязни не раз в жизни врагам предавал, и за то, что слишком свою старую жизнь жалел во вред другим людям и жил не как добрый пастырь, полагающий душу свою за овцы своя, а как наемник бегал от лютых волков, за это душа моя здесь теперь мучится, милый сын мой. Бей и ты меня за грехи мои... только не крепко, потому что я все-таки как отец хлеб мой с тобою делил...

Ударил его не очень крепко Петро два раза, простил и сказал «ну!». И поп опять стал черною лошадью и повез его на завод.

На третий день мусье Франко опять сказал Петро:

– Поезжай в лес за тремя поленьями; только не говори лошади «э!», а говори ей «ну!».

Поехал Петро на хорошей рыжей лошади.

Срубил он три полена в лесу и сказал и этой лошади «э!». Он уже знал, что увидит перед собой Хаджи-Дмитрия, и как только лошадь обратилась в купца, Петро сказал ему:

– Здравствуй, господин мой, за что тебя наказал так Бог? Ты был человек хороший и добрый и мне жизнь даже спас.

– За гнев необузданный. За то, что я не тебя одного, а многих во гневе напрасно обидел, бил, истязал, из дома своего изгонял и, может быть, иных и жизни во гневе лишил. Вот за что моя душа мучится.

Петро отвечал ему:

– Я бы тебя за это сильно избил поленом, но так как ты мне прежде жизнь спас, то я тебя много наказывать не буду.

И ударил его только раз, и то не крепко.

На четвертый день, когда мусье Франко велел заложить ему большую белую лошадь и опять напомнил, как говорить с нею, Петро не вытерпел и, еще не доезжая до леса, сказал: «э!», и белая лошадь стала епископом.

– И ты скончался, владыко? – спросил Петро, снимая шапку.

– И я скончался, дитя мое! – сказал епископ, печально потупив очи. – Когда тебя изгнали из моего дома, другие телохранители мои и твои побратимы задумали отмстить за тебя, исполняя клятву побратимства и любви, которую они тебе дали. Они зарезали племянника моего писаря и удавили сестру мою параману, сами же разбежались; а я от такого огорчения и стыда всенародного скоро после этого умер. Теперь прошу я тебя, прости мне и не бей меня, твоего старца, потому ты знаешь, что грех мой был больше всего лень и еще то, что я против людей и лукавых слуг моих имел лицо слишком мягкое. Усилий я делать не любил. Ни в чем не нудил себя. А только принуждающие себя восхитят царство небесное. Но не был я ни гневен, ни алчен, ни любострастен, ни завистлив, ни горд.

– Я не могу бить тебя, владыко, – отвечал Петро. – Хоть бы ты и худшее сделал, я бить тебя не могу: твой сан очень велик.

Тогда сошел Петро с телеги и сказал: «Ну!» Епископ опять стал лошадью, и Петро около телеги пешком до лесу дошел.

В лесу выехал он на большую пустынную полянку, посреди которой стояло превысокое дерево, все до верху сухое, без листьев. Петро подошел к нему с топором и хотел ударить. Наверху на дереве сидела одна птичка, такая маленькая, что Петро ее не заметил. Тогда маленькая птичка сказала ему:

– Милый мой Петро, пастух мой бдительный, крахт-кандильанафт целомудренный, домоправитель искусный, ясакчи богатырь прекрасный, прошу тебя, не руби этого дерева. Мне оно нужно. Руби другие деревья в лесу. И за это я открою тебе тайну. Скажи мне, сколько дней едешь в этот лес?

– Четыре дня, – сказал Петро.

– Это значит четыре года, – сказала птичка. Слыша это, Петро пришел в великий ужас и воскликнул:

– Горе мне! Горе несчастному! Я уже про-

жил здесь, не зная того, четыре года, и что случилось с отцом моим Христо и с бедной матерью Христиной? Уж не померли ли они от бедности и трудов...

– Об этом я тебе сказать не могу, – отвечала птичка. – А скажу тебе о другом. Живешь ты теперь четыре года у самого дьявола в доме. Хозяин твой Франко – сам дьявол.

Еще больше испугался Петро, упал на землю и начал волосы и одежду свою рвать и плакать, восклицая:

– Увы! Увы мне, черная моя судьба! Увы мне! Скажи мне, птичка моя золотая, уж не умер ли я тоже, несчастный... Скажи, жив ли я?

– Ты жив, не бойся, – отвечала птичка. – Возвратись домой и скажи дьяволу смело, что служить у него больше не хочешь, и спроси расчета, а когда он будет давать тебе деньги – не бери их, хотя бы он дал тебе их целый мешок. Сколько бы он их тебе ни дал – все эти золотые его обратятся в луковую кожицу золотистую, которая на луковицах бывает, и не успеешь ты и десяти шагов от дома его отойти, как мешок твой из тяжелого станет лег-

ким, и ты пожалеешь тогда. А ты скажи дьяволу: «Мусье Франко, дайте мне ту старую большую баранью белую шубу, которая у вас на гвозде висит; больше ничего мне не нужно». Он отдаст тебе ее. А когда ты будешь уходить, что бы ты за собой ни слышал – не бойся и не оглядывайся, но иди прямо. Иначе погибнешь ты; только взойдя на гору высокую в часе ходьбы от того места, остановись, и с нее ты можешь оглянуться назад.

Послушался Петро; срубил другое дерево; взял от него три полена, положил их на телегу, а сам всю дорогу шел пешком назад, жалея седины епископа, и, вздыхая, думал о том, как страшно умирать и как трудно без греха сохраниться нам на свете этом.

Возвратившись домой к мусье Франко, Петро потребовал у него расчета и сказал ему, что желает получить ту старую баранью шубу, которая висит на стене.

Дьявол и гневался, и ласкал Петро, и рассыпал перед ним серебро и золото, говоря: «Не лучше ли это, чем старая шуба?» Но Петро, кланяясь ему, отвечал:

– Нет, господин мой, ты слово дал ни в чем

не отказывать мне.

– Я не помню! – сказал дьявол. Петро тогда перекрестился и воскликнул:

– Вот тебе Бог, вот тебе хлеб мой, что ты обещал!

Смутился тогда дьявол, поглядел на него диким взглядом и отдал шубу.

Петро надел ее и вышел из дверей, не оглядываясь. Но едва только он вышел, как услышал, что его зовет приятным голосом его мать Христина:

– Петро, сынок мой... Поди сюда, оглянись.

И Христо за ней кричал ласково:

– Петро!

Вздрогнул Петро и чуть-чуть не вернулся к двери, но вспомнил о словах птички и воскликнул: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня!..», пошел дальше.

Тогда поднялась ужасная буря, и свист, и гам, и пыль, гонимая страшным ветром, неслась за Петро, и обгоняла его, и, возвращаясь вихрем, засыпала ему глаза, чтоб он обернулся.

Потом раздался топот погони конской. Слышал Петро, скачут как будто сотни людей

и кричат издали: «Вот он! вот он!»

Он все шел вперед, не оглядываясь.

И все мало-помалу утихло. Но до горы, с которой птичка ему позволила оглянуться, было еще далеко, и как утихло все, успокоился Петро, и задумался, и шел не спеша.

И взошел он в узкую дорогу между двух высоких скал, и взошла тогда луна, и стало и светлее, и страшнее ему. Как только взошел он на эту узкую дорогу, так и ужаснулся. Увидел он на скале, на левой руке, чью-то большую тень и длинную; вытягивалась тень дальше его вперед, и видно было, что она от кого-то, кто сзади его тихо крадется. Уменьшалась тень и опять вырастала. И чувствовал Петро чье-то тихое дыхание сзади на шее своей, и весь он трепетал и содрогался от холода и от ужаса, стараясь не оглянуться.

Наконец грянул над ухом его такой громовой удар, что он успел только пасть ниц и закрыл шубой голову. Однако все-таки он не оглянулся.

После все утихло; дьявол отошел от него, и он достиг благополучно той горы, о которой говорила птичка.

Тогда, помолившись еще раз, он оглянулся и увидел, что на берегу моря, где была фабрика с большою трубой, метавшею искры, не было ничего. Только был виден скучный плоский берег, да море неподвижное, да луна на небе.

И шел с той стороны навстречу отвратительный смрад.

На горе Петро побыл недолго; по ту сторону он увидел прекрасные поля, и хорошие деревья высокие, и веселые ручейки, которые по кусточкам бежали и по камешкам прыгали. А где конец этому месту, он не видал.

Когда Петро туда сошел, он увидел, что у дороги под большим платаном, у ручейка, сидят два старца. Бороды у обоих белые, чистые, не великие и не малые, и лица у них обоих были светолепные[44] и приятные, а друг на друга совсем не похожие.

Петро тотчас же подошел к первому старцу и хотел поцеловать его десницу, но тот велел ему прежде подойти к другому, а потом уж к себе.

Потом старцы сказали ему:

– Продай, молодец, нам свое большое ста-

до.

Петро удивился и спросил:

– Где ж у меня стадо?

Тогда старцы сказали ему:

– Положи на землю шубу.

Петро отвечал с радостью: «Извольте», – и, сняв шубу, поспешно положил ее на землю у ног их.

И вот только что он положил, в один миг стала разрастаться шуба, и разрасталась, и разрослась, и раскинулась далеко по красивому полю... и между деревьями изгибалась, и пропадал ее конец... Точно снегом покрылось все это поле. И заиграла, заиграла золотом на лунном свете чистая белая волна, и из каждого волосика вышло по овечке белой... и заблеяли, и запрыгали кругом ягницы[45] и ягнята маленькие, и начали матерей сосать, а матери травку щипать, теснясь так, что едва ступить можно было...

Петро удивлялся и веселился, глядя на свое стадо, и даже сам запрыгал от радости, говоря:

– Вот стадо! Я такого стада никогда не видал. Старцы улыбались на его невинную ра-

дость. Потом они встали с места, и один дал ему в руки новый кожаный кошелек, совсем пустой, и сказал ему:

– Вот тебе, Петро, плата за стадо твое. Только не искушай кошелек без крайней нужды. А когда будет очень нужно, ты в нем все найдешь. Богатство твое теперь будет неистощимо на этой земле; с ним ты всего достигать можешь, даже и того, чего и не посмеешь теперь искать. Но помни, что как только построишь ты своему благодетелю Христу и жене его Христине такой большой дом, в каких воеводы градские живут и купцы богатые, и как только купишь им землю доходную, чтоб успокоить их до смерти их в изобилии, так сейчас иссякнет золото из кошелька этого, и больше ты не будешь получать ничего. А строить ты дом долго не должен. В один месяц. Иди же ты с Богом, благословясь, и нас, своих старцев, не забывай никогда!

И как сказали они эту речь, вдруг оба исчезли; и стадо необъятное исчезло, как белый туман исчезает, когда взойдет солнце и подует вдруг ветерок.

И Петро остался опять один с пустым ко-

шельком в руках. Только луна светила и деревья шелестели вокруг чуть слышно, а ручейки по кусточкам и камешкам все журчали и прыгали.

Тогда только образумился Петро и понял, что святые то были старцы, овцы же были все души, которые до тех пор томились у дьявола.

Тогда Петро подумал:

– Теперь вещь конченная! Я могу теперь идти домой и заплатить за добро моим воспитателям так, что они и надеяться не могли! Пойду, куплю земли, и дом им построю огромный в один месяц, и сам успокоюсь.

И пошел по дороге прямо.

IX

Петро шел долго по горам, полям и лесам, не встречал живого человека и жилья человеческого не видал. Когда он садился отдыхать на камень или под деревом, всякий раз вынимал свой пустой кошелек, разглядывал его, мучась желанием достать из него золотой, но всякий раз вспоминал о том, что старец запретил ему испытывать Бога без крайности, и не опускал в него руки, и, творя молитву, со вздохом прятал его снова за пояс. Так шел он

долго, пока стал чувствовать голод, и испугался, что и с неистощимым источником золота за поясом он может погибнуть голодной смертью в пустыне.

Вдруг увидал он перед собою две дороги, направо и налево, и не знал он, по которой ему идти домой к Христо и Христине.

У дороги сидел на камне нищий старик в разодранной одежде. Он ел хлеб, и за спиной его была большая сума.

Петро подошел к нему и попросил у него хлеба, потому что был очень голоден. «Я тебе денег дам», – сказал он ему. Нищий отвечал, что он и без денег с радостью готов разделить с ним убогую пищу свою. Он дал ему большой кусок сухого хлеба. Петро сел с ним рядом, и они начали есть. Хлеб этот показался приемышу слаще всех кушаний, какие он прежде едал, и он сказал нищему:

– Такого вкусного хлеба я не ел никогда, и с такою радостью я еще никогда не вкушал никакой пищи! Нищий улыбнулся и отвечал:

– От всей души я тебе его дал – это вот отчего. – Ты, я вижу, человек опытный и все знаешь, – сказал ему Петро, – научи меня, ка-

кою дорогой мне идти в места, где живут мои воспитатели Христо и Христина?

Нищий сказал ему:

– Направо дорога эта, а налево дорога в царство доброго и великого царя Агона, у которого нет ни одного сына, а только одна дочь, царевна Жемчужина. И за эту прекрасную дочь теперь у царя Агона с грозным царем Политекном, у которого двенадцать сыновей и ни одной дочери, идет война. Произошел между ними раздор за то, что любимый и младший сын грозного царя Политекна поехал свататься за царевну Жемчужину и пропал без вести, и теперь царь Политекн требует, чтоб ему выдали сына живого или, если он умер, то чтобы заплатили ему семь бочек золота. И идет жестокий бой вокруг города. Добрый царь Агон сам уже стар и тучен и сражаться не может; он сидит все на открытой башне, на одном конце города, смотрит в трубу, а на другом конце города, за высокими стенами, есть другая башня, островерхая и закрытая. Там заперта дочь его, царевна Жемчужина; она больна, и к ней никого, кроме кормилицы и двух старых немых евнухов, не

пускают, ни мужеского пола, ни даже женского... И никто в городе не знает, что за болезнь у нее и что за великая тайна есть у царя Агона. Теперь я сказал тебе, куда идет дорога налево и куда направо. А ты иди домой к Христу и Христине. Петро сказал тогда нищему:

– Отчего же царь Агон не откупится? Разве нет у него семи бочек золота?

Нищий, смеясь, отвечал ему так:

– На что ты спрашиваешь? Не ты ли откупишь царя?

Петро смутился (потому что он и в самом деле об этом подумал) и спросил:

– Разве ты знаешь мое сердце?

Нищий отвечал:

– Не только сердце твое я знаю, но и больше того; знаю я, если ты пойдешь налево, то выкупишь царя и женишься на царевне, и вознесешься ты надо всеми людьми.

Петро обрадовался и, встав, вынул из кошелька первый золотой и дал его нищему. Но тот не принял его и сказал:

– На что мне золото! Дай мне медь.

Петро опустил опять руку в кошелек, но он не давал ни серебра, ни меди, а только чистое

ЗОЛОТО.

– Не могу! – сказал Петро. Нищий засмеялся и воскликнул:

– Не нужно мне ничего; я рад и тому, что ты налево пойдешь. Ты человек молодой, прекрасный и храбрый; зачем тебе со стариками так рано у очага спокойно сидеть. Поди повойной, и прославься, и царскую дочь возведи на брачное ложе. Ты только об этом подумай – каково это!

Удивился Петро доброте этого нищего и его любви и простился с ним как с отцом. А это был опять тот самый дьявол, который уже в образе мусье Франко хотел погубить душу приемыша.

Петро пошел налево, размышляя так: «Христо и Христина привыкли так жить, как они живут. И я подожду немного им строить этот дом, чтобы вдруг не иссяк кошелек. А пока и свет, и разные вещи увижу, и сладостями упьюсь такими, каких я не знаю еще!» На рассвете увидел Петро с высокой горы у ног своих большую долину, зеленеющую зеленою травой, и по ту сторону долины такую же стену гор, как и та, на которой он теперь стоял.

По долине текли две большие реки, и на берегах этих рек стоял большой город. Он имел вид двуглавого орла; одно из предместий его шло к одной реке, и на конце предместья стояла одна крепость с высокою башней, наверху открытою, – и это было как правая глава; другая часть города направлялась в другую сторону, уходя к небольшому ущелью, и там, на конце, была другая как бы крепость с царским дворцом и островерхою башней, – это было как левая глава орла. На правой башне, открытой, сидел всегда в небольшом киоске добрый царь Агон, а в левой, островерхой башне и закрытой была заперта царевна. Крылья же выходили далеко в обе стороны до самых гор налево и направо, – дома большие, храмы, базары богатые сияли разными цветами; а на стороне, противоположной главам, как широкий распущенный хвост рассыпалось по густым садам белыми домиками и красными кровлями особое предместье.

Весь город был со всех сторон обнесен двумя высокими земляными валами и глубокими рвами, и на валах были укреплены крепкие колья, а за кольями стояло множество мо-

лодцов для защиты города.

По долине с двух концов за реками и по сторону рек, и по ту, и по сторонам, по уступам гор, и у ног Петро, и с другой стороны стоял страшный лагерь; войско двигалось по лагерю несметное. Со всех холмов и высот на город смотрели черные большие пушки на колесах, и казалось, что все они были как страшные звери, черные и лесные, которые прилегли только и хотят броситься на город и растерзать его.

Посреди лагеря стоял особый большой шатер пурпуровый с золотою короной наверху, а другой, желтый, около него, и кругом этих двух – десять меньших голубых шатров и пятьдесят зеленых шатров. В пурпуровом шатре жил грозный царь Политехи, а в желтом – наследник его, знаменитый боец и воевода; в десяти голубых – десять главных начальников; а в пятидесяти зеленых – пятьдесят меньших начальников войска; белым же шатрам для простых воинов не было видно конца на траве долины, и в ущельях, и у рек на берегах, и по холмам в виноградниках до самых больших садов городских. И в городе

по разным местам, и близко, и далеко, и в неприятельском лагере играли трубы, барабаны били громко, и народ шумел и кричал. Но сражения не было.

Петро спустился с горы и вошел в лагерь. Воины тотчас же окружили его и свели к одному начальнику.

– Кто ты такой? Не соглядатай ли? – спросил начальник этот грозно.

– Если б я был соглядатай, не с горы сошел бы я, а пришел бы я из города и не отдался бы в руки сам, господин мой. Я путник, умираю с голоду и не знаю ни мест этих, ни города, который вы осаждаете, ни народа вашего никогда не видал, а слышал только о великом царе Политекне, как о самом грозном и справедливом из всех царей. Оттого я и прошел сюда, ибо справедливого царя невинному человеку зачем бояться?

Начальнику понравились почтительные и разумные слова Петро; он приказал накормить и пустить его свободно в лагерь, только чтоб он в город не ушел.

– Может быть, он все-таки нехороший человек и нам вред сделает, – сказал этот на-

Чальник.

Тогда воины увели Петро к себе и накормили его любезно, и успокоили его, и начали дружески жаловаться ему, что им уже давно наскучило тут стоять и осаждать этот город. Они рассказали, что войско все уже ропщет и желает домой, что силой взять этот город трудно, и потому царь его хочет голодом заставить сдаться. Но хоть и слышно, что в городе нужда большая, однако сдаваться они еще не желают, и потому их царь приказал сказать царю осажденному, что он снимет осаду, если тот ему выплатит семь бочек золота. «Вчера предложили это осажденному царю и дали три дня сроку на соглашение, а если чрез три дня не дадут нам этих семи бочек золота, то ударим всем войском на город, и возьмем его, и разграбим, и камня на камне не оставим, и царя этого наш царь ослепит и дочь его позору и поруганию предаст, или все мы сами погибнем тут вместе с нашим царем». Так говорили воины.

Петро, желая узнать, правду ли ему сказал дьявол, которого он принимал за доброго нищего, спросил: «А за что эта война?» Тогда

один престарелый воин рассказал ему так:

– Царя этого города зовут царь Агон, а нашего царя зовут Политекн. У царя Агона сыновей не родилось, а только одна дочь, царевна Жемчужина. У царя Политекна родилось двенадцать сыновей. Царь Политекн сокрушался о том, что у него много сыновей, а царь Агон жалел о том, что у него нет ни одного. Царь Политекн опасался, что по смерти его сыновья начнут между собою распри за наследие престола, а царь Агон боялся, что по смерти его некому будет царствовать. Поэтому царь Политекн спешил всех сыновей своих женить на иностранных принцессах и разослал их по тем странам, в которых их невесты. Так что скоро у него дома остались только двое – старший, наш князь и наследник, и самый младший. Младшего этого наш царь Политекн любил столько же, сколько Иаков любил Вениамина, и не хотел его отпустить от себя. Он послал послов ко всем царям и соседним, и дальним в самые отдаленные края земли требовать портреты их дочерей и объявил своим вельможам, «что та царевна, которая понравится моему любимому

и младшему сыну, – будет жить у нас здесь, ибо, если отец ее не отдаст, я ее силой возьму для моего любимца!» Все цари прислали портреты дочерей. Царь Агон тоже прислал, но приказал сказать: «Я дочь на сторону не отдам; а хочу, чтобы зять у меня наследником был». Младшему же царевичу ни одна царская дочь не понравилась, кроме царевны Жемчужины, и он от всех других отказался, и когда он узнал, что царь Агон на сторону ее не отдаст, то он еще сильнее влюбился в нее и сказал отцу: «Государь мой и отец, позволь мне самому туда ехать и похитить ее». Жалел и боялся отец отпустить его; но наконец отпустил. Царевич переменял одежду и сказал, что он без царевны не вернется; постарается ей простым человеком понравиться, а после, одной ей открывшись, что он сам царский сын, похитит и привезет ее. Было ему всего восемнадцать лет, и был он краше нежной девицы, а сердце имел смелое и мужественное. Поехал он и не возвращался более. Тогда, прождав его год, наш царь грозно потребовал от царя Агона ответа о том, что случилось с его сыном, который на дочери его жениться поехал;

но царь Агон ответил, что дочь его нездорова и никого не видит и что сына его тоже никто не видал и не знает. Вот за это объявил наш царь Политекн ему эту кровавую войну, и вот почему мы тут стоим более года и осаждаем напрасно столько времени столицу доброго царя Агона. Царь наш ужасно и сам утомился и согласен оставить осаду, лишь бы ему уплатили осажденные семь бочек золота.

Так рассказывал старый воин, и Петро после этого еще больше поверил нищему, утвердился в надеждах своих и подумал: «Жалко мне этого царя Агона! Да и мне уже стало очень тяжело без молодой жены... Трудно мне уберечь себя, когда меня везде и девушки, и молодые жены так крепко любят. Дам я этому царю Агону семь бочек золота, женюсь я на его дочери, буду счастлив, богат и знатен, и благодетелям моим Христо и Христине выстрою такой большой дом, в каких живут начальники городов или купцы богатейшие».

И стал Петро говорить этому воину:

– Отведи меня к царю Политекну, и к сыну его, и к начальникам вашим; я откуплю царя Агона и вас всех возвращу домой и успокою.

Старый воин отвечал ему:

– У нас этого нельзя. Не могу я повести тебя ни к царю, ни к начальникам, ни к сыновьям царским. Как бы меня не наказали за это. Может быть, ты какой-нибудь глупый и пустой человек. Где у тебя деньги такие, каких цари не имеют? У нас же государь такой грозный и справедливый, что с ним очень страшно. И сын такой же грозный и справедливый, и начальники все такие же. Когда вошли мы на землю доброго царя Агона, то царь нам приказал так: «Где народ в каком городе защищаться будет и власти нашей не будет покоряться, сжигать тот город и то село, и всех людей даже с грудными младенцами избивать. А где покоряться будет народ, там не касаться ничего и себе не брать воинам!» И приказал, когда захотим в садах мирных жителей виноград есть, то есть можем, но чтобы за каждый куст медные монетки класть, какая будет в то время цена винограду, и от всяких плодов не иначе. И удивился бы ты, увидав, как спокойно выходили мирные жители, и сбирали виноград свой, и поднимали наши монетки под лозами. Они говорили нам: «О

такой справедливости мы еще не слышали!» И еще я тебе скажу. Повелел грозный наш царь в одном месте для отдыха ковры себе разостлать и сошел с коня. В это время подошла к нему здешняя одна бедная женщина вдова и сказала: «Ты, государь, не приказал своим воинам у нас насильно брать ничего; а один из воинов твоих взял у меня кувшин молока насильно и выпил». Подозвал тогда царь всех воинов, которые тут с ним были (а было их тут немного) и сказал вдове: «Укажи лицо его, если помнишь; но если ты ошибешься, ты умрешь». Она сказала: «Вот он». Тогда царь Политекн приказал его к дереву привязать и разрезать ему живот, и оттуда потекло молоко вместе с кровью. Оставил царь его там умирать и поехал дальше. А вдове, которая в ужасе ниц пала, царь сказал: «Это тебе хорошо, что ты не ошиблась; а ошиблась бы, то тебе еще хуже бы было». Такой у нас царь и такое начальство, а ты говоришь, веди меня к царю!

Однако Петро настаивал, и старый воин наконец сказал:

– Я отведу тебя к нашему сотнику только.

Они пришли к сотнику. Сотник же, выслушав, что Петро хочет откупить целое царство, воскликнул:

– Дайте этому дураку палок двадцать – и пусть идет спать спокойно.

Воины побили Петро, и старый воин опять отвел его в свой шатер.

Когда совсем стемнело, старый воин сказал приемышу:

– Спи теперь.

Но Петро:

– Нет, я спать не буду; а прошу тебя, отведи меня к стенам городским, чтоб я мог взойти в город.

Старый воин отвечал ему:

– Либо свои нас убьют, думая, что мы перебежать хотим, либо городские убьют нас, как соглядатаев. В уме ли ты?

– Я в уме, – отвечал Петро. – И скажу тебе вот что. Пусть убьют меня, это не твоя забота. А тебя либо убьют, либо ты обогатишь всю свою семью. Есть ли у тебя жена?

– Есть, и много детей! – сказал воин.

– Видишь! И без того тебя убить могут, а я тебе теперь полную суму золота дам, а под

стенами другую еще насыплю.

Велел ему выйти из шатра и, в один миг наполнив ему большую кожаную суму золотом, позвал снова. Увидав золото, воин согласился и сказал ему:

– Нет, ты точно, я вижу, в своем уме и все говоришь разумно! Это правда, что и без того завтра я могу умереть, а если не убьют меня, то и жена, и дети мои богаты будут... Я отведу тебя!

Повел старый воин Петро с великою осторожностью и искусством, так как он во всем воинском был очень опытен. С большою опасностью прошли они в темноте весь лагерь царя Политекна, и никто их не потревожил, а когда у реки окликнул их часовой, старый воин сказал ему:

– Не бойся, мы искупаться в реке лишь хотим. Это тоже наш человек, и он тебе денег даст.

Петро дал часовому пригорошню золота, и тот пропустил их. На берегу, в тишине, насыпал он своему помощнику, старому воину, еще другую суму, кинулся в реку и переплыл ее благополучно. Начало уже рассветать, ко-

гда он сквозь сады достиг городских окопов и, спустившись в ров, стал укрываться в нем, выжидая, когда люди городские увидят его. Увидали его наконец и хотели стрелять, но он закричал им:

– Добрые вести царю несу я!

Тогда ему приказали идти к воротам. У ворот он долго ждал, опасаясь, как бы его внезапно кто-нибудь не умертвил. Наконец отворили перед ним низенькую железную дверь, велели ему согнуться и почти ползком ползти, и как только успел он голову опустить туда, так его схватили и, завязав ему глаза, повели.

Долго вели его люди эти, наконец остановились и развязали ему глаза.

Петро услышал шум многих голосов и увидел, что он стоит на многолюдном базаре. Людей было много, но все были печальны и говорили, что стеснение в городе так велико, что люди платят по золотому за хлеб. А бедные умирают от голода и все хотят уже отворить ворота неприятелю, но еще жалеют своего престарелого государя, который и без того огорчен без меры и целые дни сидит наверху

башни, сам не ест и не пьет и горько плачет о своем народе.

Петро сказал тогда:

– Ведите меня к царю; я утешу государя, и он будет опять есть и пить и перестанет проливать слезы.

Вельможи и воеводы долго не хотели пускать Петро к царю Агону, опасаясь, не с худым ли каким-нибудь намерением он пришел; они советовались так долго, что Петро проголодался, подошел к хлебному продавцу и, взяв у него самый маленький хлеб, опустил руку в кошелек и заплатил за него новый золотой.

Потом взял другой хлеб и заплатил за него еще золотой... Увидали нищие и голодные люди, старухи, калеки, безрукие и безногие, которые на руках ползали, услышали слепые старики, увидали и слышали все они, что Петро достает из-за пояса все золотые, и окружили его. Кто плакал, кто кричал, кто молча протягивал руку или шапку к нему, говоря только: «Господин, господин! Пожалей, господин!..» Петро желал бы им раздать медных, но медных в его кошельке не бывало и не могло

быть, и хоть жалко ему было давать золото, но вспомнив, что кошелек неистощим, он стал давать им всем по золотому и всех одел поровну. Нищие и голодные бросились сейчас же хлеб у пекаря раскупать, и вмиг все хлебы были до одного раскуплены, так что пекарь затворил свою пекарню. Как только увидели это люди, то сейчас побежали к вельможам и сказали им:

– Вельможи и воеводы царские! Тот юноша, который из вражеского лагеря пришел, на базаре по золотому за хлеб платит и множеству нищих и голодных людей роздал по золотому. А они раскупили у пекаря все хлебы, так что пекарь запер свою пекарню и ушел домой!

Тогда вельможи и воеводы решились допустить Петро к царю и повели его по лестнице на ту высокую башню, которая была около реки в крепости и на которой сидел всегда царь, сокрушаясь и проливая слезы о том, что не может спасти свой народ и себя самого.

Х

Петро застал доброго царя Агона очень печальным. Царь был уже стар и тучен, и боро-

да у него была белая, ниже расшитого пояса. Он сидел на престоле, около столика. На столике же этом лежала большая зрительная труба, в которую он глядел всегда с башни на вражеский лагерь, ожидая, когда начнут неприятели снимать с зеленой долины палатки и уходить за горы. Еще на столике стояла золотая тарелка, а на тарелке лежал кусок сухого хлеба, которым царь Агон давно уже питался, смачивая его слезами, чтобы показать пример терпения простым людям и чтобы они не роптали. И люди все в городе знали о том, что добрый царь ест сухой хлеб на золотой тарелке, и не роптали.

Петро никогда не видывал царя и сначала так смутился, что не мог поднять на него глаз; но царь любезно обратился к нему и самым кротким и ласковым голосом сказал ему:

– Здравствуй, молодец, откуда ты и какие ты нам хорошие вести принес?

Тогда Петро ободрился и увидел, что царь Агон не столько ужасен, как он думал, а скорее внушает к себе любовь и уважение. Петро пал на колена и сказал царю:

– Господин мой и царь, я из далеких стран и имею тебе сказать нечто, для тебя полезное и приятное.

Царь велел всем выйти за дверь, и наверху башни остались только двое черных евнухов большого роста и великой силы; они были вооружены мечами, а на плечах носили огромные топоры. Они были глухие и немые и ничего не слышали из того, что говорил Петро с царем. Но глаза их были исполнены крови, и губы были необычайно велики и страшны. Они никогда не оставляли царя одного.

Тогда царь повелел Петро ласково:

– Встань, молодец, и скажи мне свою приятную весть.

Петро встал и начал так говорить царю:

– Государь! Тебе нужно семь бочек золота, чтобы царь Политекн отступил от города и снял осаду. В его лагере говорят, что царь Политекн, если ты, государь, ему на третий вечер не пришлешь всех семи бочек, решился идти на последний приступ и сказал, что он на стенах твоих положит все свое войско до одного человека и до главного воеводы и сам один с сыном войдет в город и погибнет, или

возьмет его и не оставит ни души человеческой, ни камня на камне, и тебя, государь, ослепит, а царевну, дочь твою единственную, предаст всякому поруганию...

– Это ли вести хорошие твои?.. За такие хорошие вести мы тебя благодарить не будем! – воскликнул царь Агон.

И удивился даже дерзости, с которой говорил ему это Петро. В сердце его вспыхнул гнев; он взглянул на губастых и больших евнухов, и те тотчас выступили вперед с топорами...

Однако престарелый царь сдержал тотчас же свой мгновенный гнев и подал евнухам знак, чтоб они встали пока опять на свои места. Они стали опять неподвижно, а царь, приняв более прежнего суровый вид, обратился снова к Петро и сказал ему:

– Ты, молодец, не глумиться ли над нашим горем пришел, что зовешь такие вести хорошими и говоришь их так дерзновенно и глупо? Правда, мы теперь в великом и неслыханном горе, но есть еще у нас и силы, пока я жив, не только тебя, несчастного, лютым истязаниям предать, но и царя Политекна с ве-

ликим уроном и стыдом отразить от стен нашего города. Когда Бог за нас, кто противу нас?

Но Петро, не смущаясь, продолжал так:

– Не гневись, государь, на смиренного раба твоего! Не та моя добрая весть, что царь Политекн твой город возьмет и разрушит, и тебя ослепит и пленит, и дочь твою царевну позорным поруганиям предаст, а то я зову моею доброю вестью, что в моих руках сделать так, чтобы ни капли крови больше не пролилось под стенами твоего великого и славного города, и чтобы кончился голод и плач сирот и вдовиц, и чтобы царь Политекн со всем своим великим войском, и с шатрами, и пушками, и с конницею быстрой ушел за эти высокие горы, которые мы видим по обе стороны города... В моих руках это... А если это оскорбляет тебя, государь, то прости рабу твоему.

И Петро поклонился в землю, говоря это. Царь удивился и спросил с улыбкой:

– Как же это в твоих руках, поведай нам это диво!

– Я насыплю тебе, государь, все семь бочек золота, и если желаешь, и больше. Только

чтобы никто не видал, как я это сделаю и откуда я золото достану. Но могу я это тогда только сделать, когда ты мне отдашь в награду царевну, дочь твою...

Петро, сказав эти слова, с беспокойством поглядел, не гневается ли опять царь и не поднимают ли на него опять топоры ужасные евнухи за такое смелое требование.

Но на лице царя не было видно гнева, когда он слушал эти слова Петро. Он, напротив того, засмеялся и воскликнул:

– Спасибо тебе, молодец, за то, что в стольких горестях развеселил нас. Я вижу, что ты можешь быть у меня при дворе дураком, смелым и утешительным! Даю тебе обещание взять тебя в шуты, если только кончу благополучно эту войну и останусь жив. Был у меня один такой утешительный человек, который всегда и в горницу ко мне как четвероногий скот на руках и на ногах входил. Но он скончался.

Сказав это, царь Агон ударил в ладоши, и когда все царедворцы, воеводы и евнухи, которые ждали его зова за дверьми и на лестнице, вошли толпой на площадку башни, царь

велел сказать им:

– Посмотрите на этого смелого дурака и наградите его чем-нибудь... Он развеселил и насмешил меня, – и много смеясь, царь Агон приказал, чтобы Петро при всех повторил свое предложение.

Петро повторил снова при всех, что у него больше семи бочек золота для выкупа есть, и прибавил еще:

– Я рад, государь мой, что насмешил тебя и всякую должность при дворе твоём, хотя бы и дурацкую, я по воле твоей рад исполнять, потому что ты царь и мне все это будет в честь. Но изволь приказать в подвал отнести семь пустых бочек и дай мне от подвала ключ, чтобы я мог запереться в нем на один час. И если чрез час не будет у тебя полных семи бочек золота, то не убивай меня, но пусть буду я у тебя при дворе дураком и шутком утешительным. А если будут полны чрез час семь бочек, то дай мне царское свое слово, что исполнишь ты все, о чем я тебя попрошу.

О царевне же Петро при других людях умолчал. Царь Агон поглядел внимательно на Петро; помедлил несколько времени, заме-

тив, что он умолчал о царевне при других людях, и наконец сказал ему так, уже без смеха:

– Вот видишь ли, мальчик мой любезный, что я тебе скажу... Очень ты смел и дерзок, и боюсь я, не безумный ли ты совсем... Но речь твоя тверда и очи твои прекрасны и разумны... Пусть будет по-твоему... И я даю тебе мое царское слово, что я и больше того, что ты попросишь, сделаю, если чрез час будут все семь бочек полны золота. Больше сделаю... Слышишь?

– Слышу, государь, слышу! – отвечал Петро. Тогда царь велел ему встать, и, встав сам со вздохом, опять сделался печален, и приказал вести себя под руки домой во дворец, потому что уже свечерело: и в неприятельском лагере по всей долине, и по горам, кроме огней, у которых воины пищу себе варили и грелись, ничего уже не было видно.

Люди царские взяли Петро и погнали его с насмешкой и бранью в погреб, в который и скатили тотчас же семь огромных пустых бочек.

Одни из них ругали Петро и говорили:

– Вот избавитель пришел! Кто и откуда!

Кожу бы с него живого, с негодяя, содрать, чтоб он государя в такие дни пустыми делами не утруждал.

Другие жаловались, что не золото нужно, а пища и что лучше такого жирного молодчика зарезать в погребе и съесть его, потому что мяса уже давно в городе никто не видал.

А иные были добрее и только смеялись над ним, говоря:

– Царь обещал не убивать его, а если не будет семи бочек, то палок не миновать ему... Хоть и голодно, но по крайней мере посмеемся над самохвальством этого дурака!

Петро, подкрепляя себя верою, не впадал в уныние, и высматривал лица всех тех, которые оскорбляли его и желали ему зла, стараясь не забыть их, и думал про себя, спускаясь с ними вместе по лестнице в подвал: «Подождите, завтра я буду вам всем господин и тогда каждому из вас воздам, смотря по делам и по словам вашим!»

Царские слуги привели Петро к железной двери темного подвала, отворили дверь и втолкнули его туда, говоря:

– Ну, волхвуй[46] тут, собака дерзкая... по-

ка мы тебе палками пятки не разогрели! Час тебе сроку! – и заперли за ним тяжелую дверь большим запором снаружи, не оставили ему даже ни светильни, ни фонаря.

XI

Когда царские слуги, глумясь, затворили за Петро тяжелую дверь, он остался в такой темноте, что не мог ничего видеть. Однако он заметил, в какой стороне стоят бочки, и со страхом, чтобы не упасть в какую-нибудь глубокую яму, пошел туда и ощупал одну рукой.

И, взяв кошелек из-за пояса, раскрыл его над пустою бочкой, и посыпалось золото из него с великим звоном, и не только бочка наполнилась, но золото издавало особый и прекрасный свет, от которого осветилось все ужасное подземелье. Так он наполнил все семь бочек, и, устав сильно, сел на сырой земле, и, приклонившись к бочке, крепко уснул.

Добрый царь Агон между тем сел на коня и объезжал с воеводами и вельможами своими все стены и окопы города, возбуждая сердца воинов к защите жилищ и семейств своих и достояния (ибо он не верил, что Петро насыплет семь бочек, и ждал на рассвете жестокого

боя).

Он проливал слезы и говорил людям:

– Потщитесь, дети, потщитесь... Я, конечно, состарился, одряхлел и телом стал слишком тучен, так что только с большого камня могу влезть на седло; но если я не могу оружием врагов поражать, ни начальствовать вами, я завтра утром приду сюда умереть вместе с вами!

Воины тоже плакали и обещали все до одного умереть, если врага прогнать будет невозможно.

Так, немного успокоив свою душу, царь возвратился домой и, не будучи в состоянии спать от печали, вспомнил о Петро и захотел опять посмеяться. Он спросил:

– Где этот красивый шут, который спасти нас хотел? Посмотрите, что он делает в погребке, и позовите его сюда. Может быть, он опять утешит меня какою-нибудь глупостью.

Но люди, пошедшие за Петро, возвратились в страхе и радости и сказали:

– Государь, бочки исполнены золота; а сам юноша на сырой земле покоится сном невинности... Что прикажешь делать?..

Царь не хотел им верить и приказал свести себя под руки по скользкой лестнице в ужасное подземелье. И увидав, что это все правда, и сам, разбудив Петро, облобызал его, говоря:

– Истинный ты спаситель этого города и моего царского дома!

Тогда во всем городе настала внезапная радость; забили барабаны, заиграли трубы, множество факелов загорелось, и когда в стане царя Политекна все испугались и думали, что горожане внезапно из ворот хотят выйти и начать битву, тогда люди городские и воины царя Агона кричали им:

– Мир! мир!.. Золото вам шлем...

А те не верили и все, проснувшись и одевшись, вооружились и ждали.

Слуги царя Агона между тем под его собственным присмотром нагружали бочки на большие телеги, запряженные каждая шестью буйволами, и при кликах радости и шумом, с огнями, с пением и плясками повезли в неприятельский лагерь. Отвезли и отдали. И считал царь Политекн деньги до рассвета, и не мог счесть, потому что близилось

утро, и он лег на ложе свое и воскликнул:

– Не хочу больше считать – довольно!

А как только проснулся царь Политекн, так велел сниматься с поля лагерю и идти всему войску домой.

Добрый же царь Агон от радости всю ночь не спал и приказал, чтобы Петро на его коне по городу возили и восклицали: «Вот тот благословенный и добрый человек, который выкупил царя нашего и всех нас от лютой смерти и от жестокого рабства и пленения спас!..» Сам же царь Агон взошел на башню свою и любовался, как снимались палатки вражеские с долины.

Снимались палатки и уходили войска в разные стороны и по разным дорогам, чтобы поскорее уйти; из сел уже хлеб везли и другие запасы для продажи в городе.

После этого царь Агон заперся у себя на три дня и три ночи и на башню не восходил более, а только ел, пил и отдыхал, возлегая на драгоценном ложе и омывая слезами радости тюлевую подушку на алом шелку...

Про Петро он как будто забыл в эти дни, и Петро скучал, думая: «Видно, и от царя этого

мне, кроме обмана, ничего не видать!»

Однако на четвертый день добрый царь Агон надел порфиру[47], возложил на себя венец и, взяв в одну руку скипетр[48], а в другую державу[49], воссел на престол свой и велел позвать к себе Петро.

Петро пришел и поклонился ему.

– Ты видел меня в горестях; теперь ты видишь меня во всем моем величии – радуйся, – сказал ему царь и дал ему целовать десницу свою.

Потом царь сказал ему:

– Чего ты, сын мой, желаешь от меня теперь? Скажи мне по сердцу, и я постараюсь исполнить твое желание...

– Ты, государь, знаешь мое желание, – отвечал Петро очень почтительно.

Царь посмотрел на него внимательно и сказал:

– Мне нравится твоя почтительность, сын мой, но я не знаю твоего желания.

– Я желаю, государь, чтобы ты царевну твою, Жемчужину, мне в жены отдал. Ты же, государь, на высокой башне своей, в то время когда грозный царь Политекн облегал беско-

нечным лагерем город твой и грозился умертвить тебя самого, при царедворцах твоих сказал мне, что ты и больше этого сделаешь для меня.

Царь вздохнул глубоко и сказал ему:

– Зачем тебе моя дочь?

– Государь мой милостивый и благоутробный! Пожалей меня, – воскликнул Петро, – молод я! Девушки и жены даже замужние смертью за меня умирают от любви и ищут меня... Я же греха трепещу и хочу невинным и чистым в брак законный вступить. Когда я на твоей дочери прекрасной и юной женюсь, буду я знать тогда, что мне можно будет обнимать и ласкать ее сколько моему сердцу угодно, не опасаясь гнева Божия! Вот почему я хочу царевну твою в жены себе.

Царь сказал ему на это:

– А кто ты такой? Может быть, ты какой-нибудь незаконнорожденный и дурной женщины сын! Расскажи мне все, кто ты и откуда?..

Велел ему царь Агон сесть на пол противу себя и рассказывать.

Рассказал ему Петро все о Христо и Христи-не, и о бабушке своей, которую он не помнил и которая умерла на дороге в лесу, и о неправдах, которые он претерпел и у чорбаджи Брайко, и у попа Георгия, и у Хаджи-Дмитрия купца, и у епископа доброго... И о мусье Франко, самом дьяволе, и о птичке, и о том, как померли все те, которые обидели его, и как души их мучились у дьявола... Умолчал Петро только о том, что было после, о кошельке и о святых, которых он под горою встретил.

Царь все слушал его и жалел, а когда он кончил, сказал ему:

– Пока ты не рассказал своих бедствий, я и своих не помнил так, а теперь ты мне мои все горести напомнил, несчастный...

И сказав это, царь положил на столик около себя державу и скипетр и начал горько плакать.

Петро же, сидя противу него на полу, стал думать: «Это он все лицемерит, чтобы дочери мне не отдать». И молчал.

Утерши слезы свои, добрый царь Агон сказал:

– Сын мой, я жалею тебя. Ты, может быть,

слышал, что дочь моя больна, но ты не знаешь настоящей тайны, тайны великой, через которую все бедствия мои приходят, через которую и война с грозным царем Политекном у нас была, через которую и эти черные слезы мои текут, через которую и тебе я говорю, проси лучше большего, а дочь мою не проси.

– Я большего ничего не желаю, государь мой, – сказал Петро. – Ты мне дочь, пожалуйста, отдай свою. Если она нездорова, я помолюсь, и ей будет легче. Позволь мне по крайней мере видеть ее.

– А когда так ты желаешь ее, – сказал царь Агон, – да будет судьба твоя.

Велел царь тотчас позвать к себе кормилицу царевны, которую уж давно никто не видал, и сказав ей сперва что-то тайно, чего слышать Петро не мог, прибавил громко:

– Этот юноша хочет видеть царевну и, может быть, вылечит ее своими молитвами. Расскажи ему прежде все, чтобы не был я против него изменником и предателем... И да будет судьба его!

После этого царь Агон сошел с престола своего и удалился; а кормилица сказала Пет-

ро:

– Иди за мной, несчастный! – и повела его.

Долго вела она его; спустились они в подземелье длинное и пришли наконец к низенькой железной дверке, и кормилица отперла ее, ввела Петро в небольшой покой, села и сказала ему:

– Садись и ты, горький ты мой сирота; я тебе теперь весть скажу страшную и недобрую.

Ужаснулся Петро и спросил:

– Что такое?

– Кто из юношей, сирота ты мой черный и бедный, чрез порог царевны переходил, тот назад не возвращался.

И открыла она ему другую дверь в сырой подвал, и отступил Петро в смятении.

Там лежали в гробах двое мертвых юношей. И пахло оттуда страшно человеческим трупом; потому что они еще не распались в прах, а тлели медленно и издавали ужасный запах. Ближе других к дверям лежал труп, по виду, молодой девушки необычайной красоты, в простом одеянии с венцом высохших цветов на голове. Были эти трупы белы и бледны как воск свечей, и печальны были ли-

ца их, как будто они оплакивали раннюю гибель свою.

– И это не девушка, – сказала кормилица. – Этот юноша лучший из всех, последний сын грозного царя Политекна. Из-за него была ужасная война, от которой ты нас спас на гибель свою.

Сказав эти слова, кормилица затворила снова дверь, возвратилась в свой покой и, сев сама, посадила Петро и сказала ему:

– Садись и ты. Я расскажу тебе всю правду. А ты слушай и готовься к смерти, если хочешь видеть царевну. Возврата от нее нет, сирота ты мой горький!..

Смутился Петро еще больше, сел и слушал, а кормилица рассказывала ему о великой и страшной тайне, о той горести, которая доброго царя Агона сокрушила.

XII

Кормилица говорила ему так:

– Ты сам, сынок мой и молодой чужестранец, знаешь, что у доброго царя нашего нет других детей, кроме одной этой дочери царевны Жемчужины, которую я моим молоком вскормила и носила долго на груди моей. И

потому что она была у царя одна, берег и любил ее царь как очи свои и не знал с самого начала уже, чем угодить ей и порадовать ее. Какая подруга маленькая ей нравилась, царь приказывал тотчас ее взять в палаты свои. Говорила она: «Когда бы этот евнух или этот слуга ушел из дома нашего.

Опротивел он мне!» И изгонял его безжалостно добрый царь Агон, хотя бы он ничем и виноват не был, а только тем, что царевне маленькой не понравился. Особый дворец он ей выстроил и эту большую островерхую башню, в которой она теперь заключена. И с башни этой вид на город и поля открывается еще лучший, чем с той, на которую сам царь выходит, чтобы на царство свое смотреть. Пожелала она, картинки чтоб у нее на стене в комнате нарисованы были; царь художника искусного призвал, и художник нарисовал большую и страшную женщину с рыбьим хвостом; около нее море, а в море кораблик, и женщина эта большая с рыбьим хвостом кораблик веревкой к себе тянет, а на кораблике маленькие, маленькие, чуть видные люди воздели руки и ужасаются. Посмотрела царев-

на и сказала: «Долго трудился художник, а что хорошего вышло? Не утешает меня эта нагая баба с хвостом. Я еще, может быть, от страха ночь не буду всю спать!»

И потом сказала: «Государь мой и отец дорогой! Прикажи мне лучше нарисовать так, чтобы все были деревья и деревья, так, как около моего дворца. И чтобы между деревьями все зайчики прыгали, а на деревьях чтобы такие птицы сидели, каких никто в жизни своей не видал!»

Смыли страшную женщину с рыбьим хвостом и взяли другого художника, и он написал все деревья и деревья, и зайчиков, и птиц таких, каких никто в жизни не видывал.

Долго на эту картину веселилась и утешалась милая царевна наша и прыгала даже пред нею и говорила: «Кормилица! Когда зимой будет холодно, я в сад не пойду; а буду здесь гулять и за зайцами этими бегать. А птицы уж эти утешительнее и гораздо приятнее настоящих!»

И так дорого за эту радость заплатил царь художнику, что тот большие палаты себе на эти деньги выстроил.

А как настала зима, погуляла раз царевна около этой картинки по комнате, два раза погуляла, а на третий говорит с большим пренебрежением: «Зайцы все скачут и никуда не ускачут; а птицы, какие это такие? Это неправда, таких никогда не бывает!..» И стала просить отца своего, государя, чтобы новую картинку ей написать и зайцев и птиц уничтожить вовсе; согласился царь с радостью и призвал третьего художника из далекого города, лучшего, и царевна говорит: «Пусть он сам придумает!» И придумал этот художник хорошо. Он нарисовал цветник и дорожки и кругом все кипарисы до самого конца, а в середине киоск; а кругом киоска на золотых креслах сидят все рядом и по очереди один мужчина богатый с чубуком[50] в руке и одна женщина богатая с цветком в руке, который она нюхает; а потом опять мужчина и опять женщина; и все они глядят на киоск и наслаждаются. Тогда царевна сказала: «Вот это хорошо!» – и больше не просила менять картины.

Так любил царь Агон царевну и только и думал о том, как он ее выдаст замуж и за ка-

кого царевича или вельможного сына, чтобы тот мог ему стать вместо сына родного и наследовать ему, когда он умрет.

Когда еще царевна была мала, царь Агон веселился на ее красоту и приятность и спрашивал ее: «Жемчужина моя маленькая! Скажи ты мне, за кого ты замуж хочешь? Я тебя отдам!», а она дитя неразумное еще была, и ничего не понимала, и, лаская отца, говорила: «За тебя я, отец, хочу замуж. Чужих я не хочу!» Много мы все смеялись и веселились на ее детское неразумие. А потом, когда ей стало уже четырнадцать лет, и царь опять спрашивал ее: «Жемчужина ты моя, скажи мне душу свою, за кого ты хочешь замуж?.. Я бы не хотел ни в чем перечить воле твоей... чтобы ты была счастлива, как только может быть счастлив человек на свете этом». Царевна уже стыдилась и молчала, закрывая покрывалом лицо; и царь снова приступал к ней: «Скажи!», а она отвечала ему: «Воля твоя на это, государь! А мне где такие вещи знать!» Сама же смотрела одним глазом из-за покрывала, что делает отец и что он сказать собирается. А когда со мной она была, то мне говори-

ла, открывая свою душу: «Все царских детей нам ждать? А я хочу вот что: чтобы муж мой был больше меня, сильнее меня, красивее меня!» И я говорила ей: «И больше, и сильнее найти легко, а чтобы был он красивее тебя, найти вот это трудно!» Она, вздохнув, отвечала: «Это правда, что трудно!» Пошла я тайно от нее и передала эти слова царю; царь затруднился тоже и сказал: «Трудно это, чтобы красивее найти, чем она сама! Боюсь уж, не слишком ли во всем я ей потворствовал!»

Стали показывать ей разных детей вельмож, самых лучших, а она глядела из окна и говорила: «Ба! Какой холодный!..», а про другого говорила: «Слабенький он и худой...», а про другого: «Что за сокровище вы нашли такое!» И никого не хотела. И стала она вдруг бледнеть, и тосковать, и плакать, и не знали мы, что с ней случилось. И удаляться стала от меня, и от подруг своих, и от всех людей, и начала биться об землю и одежды на себе рывать, и волосы свои, которые до земли у нее, вырывала целыми прядями, сокрушаясь. Сказал тогда царь: «Нет, надо ее замуж отдать»; и сам выбрал ей сына одного из царе-

дворцев своих, юношу прекрасного, и приказал ей обвенчаться с ним. И обвенчали их. Она ничего не сказала. Я ввела его в комнату ее и ушла. На другой же день вошла опять я к ним поздно и ужаснулась... Юноша лежал на брачном ложе мертвый и бледный, потому что она кровь из него всю высосала, и он умер. А она как была, так и осталась, и сидела печальная и еще бледнее и страшнее его, только губки ее были все в свежей крови. Я сказала ей: «Что ты сделала, царевна?» Она ничего не отвечала, только: «Убери его!» Тогда мы похоронили его в том погребке, который ты видел, и знал об этом только один царь Агон и два немых евнуха, а больше никто. Оставили это дело так; повеселела опять немного царевна, и подумал царь: «Это оттого, что он ей был не мил. Пусть сама выберет». Тогда царевна открылась мне: «Я видела во сне одного. Отыщите мне его». Она сказала, какой он был; мы отыскали ей такого и привели ей, и она обрадовалась и воскликнула: «Этот самый!..» И обвенчалась с ним. Опять я вошла на другое утро и опять нашла его мертвым; а она уже смеялась и говорила мне: «Ва-

шим женихам сладкая смерть... Приводите ко мне юношей, и я их кровь высосу!»

Тогда мы поняли, что она стала такою девушкой, которая у юношей кровь пьет, и заперли ее в эту башню и в этот дворец, и не стали сюда пускать никого из молодых мужчин, а только женщин и престарелых людей для работы.

Начала она биться опять и просить меня, чтобы привела я ей юношу, пить его кровь. Но я не соглашалась и никого не приводила ей.

В это время царь Политекн прислал сюда посланцев просить царевну в замужество за младшего сына своего; но царь Агон сказал: «Я ищу к себе зятя взять, а не туда отдавать дочь мою. У меня нет сыновей». Благодарил за честь и отказал царю Политекну. Сын же царя Политекна возгорел тогда сильным желанием похитить нашу царевну и придумал сделать это так: одеться простым человеком, если нужно, и если нужно девушкой, и похитить ее отсюда, и жениться на ней.

Вот он пришел сюда простым мальчиком, и никто его не знал, он же узнал, что царевна

нездоровая и что юношей и молодых мужчин никакого звания ко дворцу ее подходить даже не пускают евнухи, и было ему это очень досадно. Переоделся он тогда в женское простое платье и сел у ворот, говоря евнухам: «Когда бы меня к царевне в служанки взяли. Я все знаю». Пришли евнухи и сказали мне: «Девушка очень молодая и красоты необычайной пришла к воротам и в служанки просится; и она говорит, что все знает».

Я велела привести эту девушку; и она была царевич; а я этого не знала и спросила ее: «Собой ты очень приятна, а что ты знаешь?» Она сказала: «Песни пою, и на тамбуре играю, и пляшу, и все другое знаю. А чего не знаю, тому сейчас выучусь, потому что я очень умна!..» Я сказала: «Что ж, оставайся! Царевна наша нездорова; может быть, ты развеселишь ее...» Царевна же тотчас же почувяла, что это не девушка, и выбежала к ней, и обрадовалась, и обнимала ее, восклицая: «Милая ты моя! Сколько времени я тебя ждала!..» Та спросила: «Не прикажешь ли петь или на тамбуре играть?..» А царевна: «До песен ли нам теперь... Я тебе игру лучшую покажу, ра-

дость ты моя!..» Увела она царевича к себе, за-творилась с ним и высосала его кровь, вышла ко мне и сказала мне: «Пооди, кормилица, погляди на эту милую девушку, как она уснула хорошо...» Увидала я тут, что это юноша и что он умер; но кто он, не знали мы ничего, пока не потребовал царь Политекн от нас сына. Тогда узнали мы, что это был царевич, потому что на правой руке у него знак был и по всему другому. И после этого началась война; остальное все ты сам знаешь. Добрый царь Агон приказал тебе сказать всю правду, чтобы не было и нам греха и чтоб он за добротвое предателем противу тебя не стал. Оставайся теперь на три часа один для размышления, и после, если захочешь идти к царевне, пусть будет воля твоя, я тебя отведу.

Кормилица ушла, а Петро, притворив за нею дверь, начал усердно молиться и клал земные поклоны до тех пор, пока, совсем утомившись, не прилег отдохнуть на диван. Тогда сомкнулись глаза его таким приятным и легким сном, каким он прежде никогда не спал. Во сне явился ему старец и сказал: «Хотя ты и вступил по лукавому совету нищего не

на правый и тернистый, а на левый и широкий путь, но Бог все обратить может на благо. Я говорю тебе теперь: дерзай! Ты излечишь царевну». Говоря это, старец дал ему небольшую книжку с молитвами для изгнания злых духов и приказал ему так: «Пошли в город, и пусть принесут тебе двенадцать восковых свечей, таких больших, чтоб они всю ночь горели, и моско-ливана[51], и черного газу[52], и самых вкусных конфет[53]. Из свечей сделай круг, и в него пусть войдет царевна. Ты накроешь ее этим газом и читай ей молитвы по книжке до тех пор, пока погаснет и последняя двенадцатая свеча, которую ты зажжешь, и упадет фитилек ее на каменный пол. А когда царевна захочет броситься на тебя, ты давай ей конфет с сердечным, ласковым словом, и она усмирится и излечится». Старец удалился, сказав это, а Петро, пробудясь, нашел около себя книжку и, обрадовавшись, стал звать кормилицу. Он велел ей купить все, что приказал старец, газ и двенадцать больших святовосковых свечей, которые бы всю ночь горели, и Ливану, и конфет.

Все эти вещи скоро принесли, и тогда Пет-

ро сказал кормилице: «Теперь я могу излечить царевну. Веди меня к ней».

Так как кроме царя Агона никто еще не знал, что Петро сватается за царевну, то кормилица сказала ему ласково:

– И то правда, добрый мой молодчик, что ты, может быть, и излечишь ее молитвами твоими, и она не убьет тебя. Потому что ты, я вижу, только для души это делаешь. Вельможи эти и сын царя Политекна по плоти старались, а не по душе. А тебе, простому человеку, куда ж на нее глаза поднимать!..

Петро отвечал:

– Все в воле Божией, кормилица! Ты это хорошо говоришь.

И они пошли вместе.

Кормилица вела Петро долго по крутой лестнице на островерхую башню, в которой заперта была царевна Жемчужина; привела и отперла железную дверь за тремя замками, а как только Петро вошел, она тотчас же заперла ее за ним и оставила его одного, так что ему назад некуда было выйти.

Петро, укрепясь молитвой, пошел дальше и пришел в большую комнату, темную, и ни-

чего сначала видеть не мог. Только слышал он где-то тихие жалобы и вздохи.

Тогда он стал зажигать по одной все свои двенадцать восковых свечей, составляя из них круг. И только что зажег он три, как царица Жемчужина вышла из темноты и, став перед ним, спросила его:

– Безумный, кто тебя привел сюда?

Петро отвечал:

– Меня Бог привел.

Царица сказала ему:

– В черный же день тебя бедная мать твоя родила, потому что я выпью сейчас твою теплую кровь.

Но Петро продолжал ставить свечи и поставил уже шесть.

Тогда царица спросила:

– Зачем же ты эти свечи ставишь?

– Чтобы ты в середку их вошла и села, – сказал ей Петро.

– Я войду, – отвечала царица.

И села на пол, а Петро dokonчил весь круг. Но когда, покапав на пол воску, он приложил двенадцатую свечу, царица вдруг, приподнявшись, растерзала на себе одежды свои, на-

чала рвать свои волосы, которые у нее до пят ниспадали в прекрасных завитках, и воскликнула ужасным голосом:

– Нет, нет! Отойди от меня, мучитель!.. Кто тебя привел сюда, враг ты мой ненавистный!..

Стали тогда очи ее непомерно велики, и страшны, и злы... А уста ее были яркие, кровавого цвета, как будто коралл. Лицо же было совсем белое, как слононая кость.

Но как ни была она страшна, однако понравилась сердцу приемыша, и он сказал ей ласково:

– Усмирись, возлюбленная моя! – и, вынув конспекты, дал их ей, говоря: – Кушай... Они лучше крови моей. Они – душа моя, потому что я тебе их с любовью даю...

Царевна скушала и опять села на пол, а Петро сказал ей:

– Ты только дай мне накрыть тебя этим черным газом.

Она нагнула голову; Петро осторожно, чтобы не зажечь газа на свечах, подал ей и сказал:

– Во имя Божие, приказываю тебе, накройся сама.

И скрежеща зубами, она накрылась. Петро стал после этого вне круга из свечей, зажег фимиам[54]и, раскрыв книжку, начал громко читать молитвы. Он читал их долго, пока не догорели все двенадцать больших свечей, до самой зари утренней. Двенадцать раз вставала царевна во время молитвы и опять рвала на себе одежды и волосы, и двенадцать раз хотела на него броситься и впиться в него, и двенадцать раз просила оставить ее... Но Петро всякий раз повторял ей, давая конфеты: «Возьми, кушай, моя миленькая, это часть самой души моей и слаще, чем кровь моя...» И опять читал молитвы...

Пред самым рассветом, когда последний фитилек от последней свечи упал на камень и погас и заря занялась за городом... царевна, закрыв глаза, упала на камни и вскрикнула таким страшным и диким криком, что сам Петро отбежал к двери и птицы, которые вили гнезда на башне, разлетелись в испуге; слуги, бывшие внизу, проснулись, а кормилица, взяв ключ, побежала было наверх по лестнице... Однако вспомнила она, что, верно, это Петро пред смертью так закричал, и пошла за

двумя старыми немymi евнухами, чтобы положить его в приготовленный гроб.

Петро между тем видел, что царевна утихла и лежала как мертвая на полу; волосы ее прекрасные были распростерты по камням; а как солнце в эту минуту выходило за горою и проник яркий луч его в окошечко, то увидал Петро, что семь клубов черноватых один из другим вылетали из открытого рта ее, и как дым стелились к окну, и пропадали все понемногу.

Сказал тогда Петро царевне:

– Не моею силой и не по моему достоинству, а во славу Божию говорю тебе, Жемчужина моя, встань...

Поднялась с полу царевна молоденькая, веселая, как малый ребенок, и улыбаясь, и стыдясь, и краснея, стала перед ним, не поднимая на него очей, а все улыбалась и краснела так, как краснеет девушка и улыбается, когда стыдится, что ее неубранною и неукрашенною со сна застали.

И Петро вдруг стало стыдно. Он не знал с минуту, что сказать ей. Потом сказал:

– Ты бы поглядела на меня теперь...

Она, поглядев на него, отвечала:

– Я теперь буду делать, что ты мне прикажешь. Петро опустил тотчас же глаза и, сам стыдясь, сказал царевне:

– Дай мне руку!

Она подала; он взял ее за руку, и повел в другую чистую и светлую комнату, и сел на диван, а она шла за ним, как агнец[55] за матерью. Он ей сказал:

– Садись со мной рядом здесь.

Но она отвечала:

– Нет, милый господин и повелитель мой, одно позволь мне: у ног твоих сесть и обнять твои ноги. Так хочет моя душа.

– Обними, – позволил ей Петро. Тогда она спросила его:

– Скажи мне, кто ты и откуда? Какого великого государя ты сын переодетый и как ты пришел в наши земли? Все мне скажи ты, спаситель ты мой!

Петро отвечал ей так:

– Я, царевна, не царский сын переодетый; я бедный сирота, приемыш у бедных людей, который пошел зарабатывать для старости их хлеб насущный. Служил я во всяких низких

званиях и к ремеслам простым привык... Я уголья жег и продавал, дровосеком был и пастухом сколько служил, я у попа Георгия кандильанафтом в убогом селе был; я управлял домом купца одного, а потом я как ясакчи у епископа был; вот я что. И если тебе неприятен я, то встань и удались от меня; я уйду.

Но царевна прижалась еще крепче к ногам его и воскликнула:

– Я ли от тебя уйду!..

И просила его все рассказать, как было. Петро все рассказал ей, только о кошельке и о встрече со святыми он утаил и не открыл ей, откуда он берет столько золота, сколько хочет.

В это время кормилица подошла к дверям и привела с собою двух немых евнухов, чтоб унести мертвого Петро в подвал.

Она отперла дверь и вошла, и за нею оба евнуха. И увидали они, что Петро сидит на диване в простой и старой одежде своей, как был, а царевна у ног его веселая и здоровая и смеется.

Удивились евнухи и ушли известить царя Агона; кормилица же хоть и рада была, но ей

не понравилось, что царевна так унизила себя перед простым человеком, и она сказала ей:

– Не идет тебе, царской дочери, обнимать ноги у пастуха либо дровосека. Он тебе не пара: ты царскими детьми пренебречь можешь по твоей красоте и величию отца твоего.

Но царевна прижалась еще крепче лицом к ногам Петро и, обратясь к кормилице своей, с досадой отвечала:

– Что мне твои царские дети... Они все для меня противны, как шпинат с луком в воде вареный; а он для меня все равно, что гвоздичка и мускус[56].

Изумилась кормилица и, ни слова больше не сказав, тоже поспешила к царю.

Петро же подумал в душе своей: «Я этих слов не забуду!»

Скоро приехал и сам царь Агон в величайшей радости: и по всему городу и по селам окрестным сейчас же разнеслась весть, что царевна здорова, и народ веселился.

Царь Агон спросил у дочери:

– Когда желаешь, чтобы сделать свадьбу?

Но она при нем стыдилась и молчала. Пет-

ро понял, чего она желает, и сказал царю:

– Государь, я желаю, чтобы свадьба наша завтра была; не знаю, как угодно царевне твоей.

Царевна же сказала в великой радости:

– Разве есть у меня другая воля, кроме воли моего господина?

И опять изумился царь ее любви и смирению.

На другой же день их обвенчали с пышностью. Петро одарил щедро всех подруг, служанок и слуг царевны Жемчужины. Каждой подруге дал он по цветной толковой ткани, а кормилице дал ткань бумажную, черную с белыми крапинками, и сказал:

– На что тебе цветная ткань? Ты уж не молодая.

XIII

После свадьбы начал жить Петро с царевной Жемчужиной приятно и весело в ее загородном дворце.

Место там было веселое и ровное, у реки: было много вязов высоких и дубов, были каштаны такие толстые, что пяти человекам и больше разве охватить их руками, став ря-

дом; а на берегу реки прекраснее всех других деревьев росли старые платаны, у которых давно уже ничего внутри не было, а только одна кора, и все они зеленели и до того были обширны, что для забавы царевны Жемчужины были внутри их устроены небольшие киоски. Обширный двор был обнесен высокою стеной с тремя железными воротами, и на самом конце двора стояла та островерхая башня, в которой была заключена царевна, когда была нездорова; с одной стороны двора были все кухни, и бани, и конюшни, и жилье для прислуги, а с другой – дворец царевны.

Двор весь был изукрашен дорожками из мелких камешков, из камешков белых, сереньких и черных, все узорами и узорами, как мозаика, изображавшая разные звезды и цветы. Дорожки эти все были обведены стриженными низенькими миртами[57], которые и зимой были зелены. А между дорожками цвели разные цветы, и розы, и лилии, и другие цветы, и желтые, и красные, и голубые. Фиалки везде цвели весной, и около камней, и под кустами мирт, и около дорожек.

Внутри дворца была большая зала; все сте-

ны были выложены голубыми расписными изразцами, чтобы было тепло зимой, а летом прохладно. Только на одной стене была та картина, которую любила царица: все богатые мужчины с чубуками и богатые женщины нюхали цветы, сидели на престолах. И веселились. Кругом всей залы было возвышение с кипарисными столбиками; на возвышении за столбиками софа во всю залу кругом, вся в многоцветном и драгоценном азиатском шелку, голубом и розовом, все золотыми марафетами[58] затканном; этот бесценный шелк закрывали по будням тончайшею льняною тканью с кружевами, чтоб его, садясь, не изнашивали и не марали... На мраморном полу зимой стелили аджемский[59] ковер во всю залу, и он был еще узорнее цветника и дорожек; кругом его везде по краям желтые барсы ловили за спину зайцев и ели их. Посреди залы ставили два серебряные золоченые мангала с угольями, когда было холодно; на чудовищах крылатых были они утверждены, и в них посыпали курения. Потолок же над этою залой был кипарисовый, весь фиолетовым цветом раскрашенный, и по всему

этому полю были видны все алые и белые розы с листиками зелеными, совершенно такими, какие у роз бывают, с мелкими зубчиками. И был среди потолка еще купол широкий, тоже искусно выложенный кипарисными изогнутыми дощечками, и он был фиолетовый, и по нем были розы алые и белые с листьями. Из середины же самого купола висел целый фунт[60]квасцов[61], обернутый в тюль. Это было от дурного глаза. Кипарисовые же были и все столбики вокруг залы, около помоста, на котором учреждена была большая софа по всем стенам. И эти столбики были также фиолетовые, и на них живописцами были изображены обвивающие их вязы из алых и белых роз с листиками.

Такой удивительный зал сделал царь Агон для своей возлюбленной и милой дочери!

И спальня была хороша, и бани. В спальне мастера из дальних стран чудную печку сложили, островерхую, снизу широкую, всю из блестящих зеленых изразцов; в каждом изразце было круглое углубление, как бы с полстакана глубиной, тоже зеленое. Ковер в спальне был не аджемский, а проще, из Бал-

канских гор, красный, как киноварь[62], и по нем все синие и белые узоры. Около печки стелили рабыни каждый вечер один на другой три толковые тюфяка и накрывали их каждый день чистою тончайшею льняною кисеей с золотою бахромой кругом и шелками по краям расшитою; подушечки клали для Петро и для царевны шелковые, цветные, наволокою[63] тюлевой покрытые. Одеждам же шелковым, и бархатным, и шелком и золотом расшитым счета не было. Каждый день царевне подавали все чистое, и Петро тоже. Умывались они критским мылом в золотых рукомойниках. Царевне подавали рабыни. А когда Петро хотел мыть себе руки, то царевна наполняла иногда розовою водою, а иногда померанцевою[64] золотой рукомойник и, взяв на плечо разукрашенное полотенце, отгоняла служанок и сама, смиряясь, становилась пред диваном на колена и лила ему воду на руки; а каждую субботу сама хотела мыть ему ноги и грозно кричала на рабов и рабынь: «Отойдите!»

Кормилица ее огорчалась этим, говорила ей тайно:

– Как уж тебе пастушеские ноги его понравились!

Но царевна строго запретила ей говорить это другой раз и обещала мужу сказать, чтоб он изгнал ее из дворца.

– И не тебя, я государя, отца моего, за него отдам! – сказала царевна.

И не знала царевна, как еще показать молодому мужу, до чего она его любит, и уважает, и боится.

Шесть недель прожили они так вдвоем: кушали, пили, отдыхали, музыка для них играла сколько их душе было угодно.

Они часто гуляли вдвоем по саду, взявшись за руки, и говорили друг другу о своей любви.

– Любишь ли ты меня, царевна? – спрашивал ее Петро.

– Разве можно не любить тебя? – говорила ему Жемчужина. – Разве видал кто звезды в полдень или солнце ночью? Что ты спрашиваешь?

И его она спрашивала:

– Чего ты теперь желаешь, Петро? Прикажи.

А он только плечами пожимал и говорил:

– Чего мне теперь желать? Не знаю. Ничего, кажется, я не желаю.

По окончании шести недель Петро вспомнил о своих воспитателях Христо и Христине и подумал: «Теперь я, конечно, могу построить им большой дом, такой дом, в каком живут градоначальники и самые богатые купцы; но если я построю им сейчас такой дом, то кошелек мой перестанет давать золото, и не буду я всемогущим человеком, как теперь. А я прежде узнаю, как они живут...»

Призвал он нарочного гонца и сказал ему так:

– Перемени одежду твою цветную и новую и надень одежды простые и ветхие. Возьми эти десять золотых и поезжай в город, где живут Христо и Христина, и посмотри, что им нужно. Не течет ли крыша у них; не обвалились ли стены, есть ли у них теплая одежда на зимнее время; довольно ли у них хлеба, вина и масла. Посмотри и сделай все, что им нужно. И скажи им так: сын ваш Петро нашел себе должность выгодную и послал вам эти деньги; и еще будет вам посылать. Вы ста-

рый домик ваш чините, а новый он сам скоро построит. Подождите. Но если ты скажешь им всю правду, что я выкупил царя Агона из осады и на царевне Жемчужине женился, то ты в лютых мученьях умрешь. Как нашел я семь бочек золота, чтобы царю Политекну уплатить дань за моего тестя царя Агона, так я и другие семь найду, чтобы подкупить людей, которые тебя и в чужих странах разыщут и умертвят.

Гонец этот ехал день и ночь, приехал в то место, где жили Христо и Христина, и сказал им:

– Ваш сын Петро нашел себе выгодную должность и прислал вам деньги; вы что нужно купите себе и почините себе стены и крышу, если вам это нужно; и он еще вам пришлет; но сколько бы он вам ни прислал, вы дома нового не стройте, потому что он сам скоро приедет и построит вам большой новый дом.

Христо и Христина радовались и благодарили Бога; но когда они спросили у этого гонца: «А где же теперь наш милый сын Петро живет? В каком городе? Чтобы мы знали, да-

леко ли он от нас, и чтобы мы могли иногда написать ему письмо и благословение и поклон наш послать ему?» На это гонец, который боялся Петро, ответил так:

— Я не знаю, где он живет и какая его должность; я его на дороге встретил и познакомился с ним. И какая его должность и у кого, также не знаю.

И уехал от них. Им же этих денег на нужды их скоро недостало, и они стали опять терпеть и нуждаться. С Христиной опять сделалась лихорадка; она лежала, не могла за водой сама на фонтан сходить и пищу готовить не могла.

Христо же, хотя и постарел, но продолжал через силу работать, тяжести большие носить, дрова рубить, и сам уже за водой ходил на фонтан, и все время сухим хлебом питался.

Петро сказал себе: «Хорошо я придумал так, чтобы посылать им понемногу; они люди бедные и старые; на что им много? Они и этому рады будут; а мне здесь всегда деньги нужны. Здесь у меня врагов теперь и завистников будет много; надо об этом скорбеть и заботиться».

Встав раз поутру, он поцеловал в уста жену молодую и сказал ей:

– Жемчужина моя, я поеду к отцу твоему, царю Агону, поклониться.

Царевна отвечала ему ласково:

– Поезжай, мой господин прекрасный... только скорей возвращайся. Царь-отец мой пригласит тебя пировать у себя, а я, бедная, как без тебя целый день здесь буду одна... мне и пища будет без тебя неприятна...

Петро вышел за ворота дворца своего с радостью в душе, что царевна Жемчужина, за которую прекрасные сыновья царей и вельмож сватались, так за него умирает, и когда увидал он реку свою в зеленых берегах, и поле зеленое пред собой, все в пестрых цветочках, и за рекой город, сияющий на солнце, а у ворот своих злого коня, белого и долгогривого, всего в кистях и чепраке[65], расшитом шелками, и стремяна золоченые, столько слуг вокруг увидал, молодцов и всадников, под которыми играли лошади... и когда заметил он, что все люди смотрят на него с боязнью и любовью... тогда он занес ногу в стремя, сел на коня и подумал: «Боже! За что Ты так награж-

даешь меня?.. С кем Ты только не приравнял меня... И чего мне еще желать на этом свете?»

Поехал он к тестю своему, царю Агону. По всему городу народ опять провожал Петро, и чувствовал его, и кричал: «Вот он, наш избавитель, какой... Посмотрите на красоту его, люди хорошие. Полюбуйтесь... Вот он, зять нашего доброго царя Агона... Вот он, наследник его престола!»

Царь принял его тоже с радостью, обнял его, целовал, сажал, вином поил и смеялся с ним, говоря:

– Вот, Петро, прости меня, я думал тебя шутком при себе сделать, а теперь ты мне наследник и сын... Я рад этому и превознесу тебя еще больше надо всеми... Скажи, чего ты желаешь...

Петро на эту речь отвечал почтительно:

– Государь и отец мой, не говори об услуге, которую удалось рабу твоему сделать. Я всю мою жизнь желаю быть тебе полезным и удобным. У меня еще есть деньги, не прикажешь ли ты мне сделать еще какой-нибудь расход. Прикажи, я готов.

Царь Агон задумался и потом отвечал:

– Много разных нужд в государстве...

Тогда Петро сказал ему:

– Вот кругом столицы твоей множество сел разорено и сожжено царем Политекном. Не прикажешь ли, я выдам деньги на устройку их, чтобы бедным людям не жить зимой в шатрах и пещерах?

Царь Агон удивился и обрадовался.

Петро велел принести множество малых бочонков.

Заперся и наполнил их сам золотом, потом, растворив двери, приказал навьючить мулов и разослал их по всем разрушенным селам.

Царь Агон не верил, и поверил только, когда, взойдя на свою каменную семиэтажную башню, под деревянный зеленый навес, в зрительную трубу увидал, что по двум большим дорогам, и по долине к северу, и по долине же к югу идут мулы – и на каждом по два бочонка с золотом; а по всем горным тропинкам и направо, и налево от города с трудом великим один за другим всходят тоже мулы, и у каждого на спине по два бочонка с золотом.

Тогда царь сказал завистникам:

– Видите, вы напрасно говорили мне, что этот Петро ленивый пастух и только и знает, что гулять с моей дочерью по саду, спать и кушанье царское кушать.

– Подожди еще, царь, что будет дальше! – сказали лукавые люди.

Петро еще одну неделю прожил с царевной, не выходя из загородного ее дворца. Всю неделю они кушали, музыку слушали, веселились, ходили, взявшись за руки, одни по саду и любовались друг на друга.

Царевна спрашивала у Петро:

– Петро, муж мой, апрельский цветочек мой и майский розан, много ли любишь ты меня?

А Петро ей отвечал:

– Апрельский цветочек и майский мой розан, видно, много я тебя люблю, когда я заплатил за тебя семь полных бочек золота.

– А сам чего ты желаешь теперь, Петро мой прекрасный? Хочет чего-нибудь душа твоя?

Петро качал головой и говорил ей:

– Ничего, кажется мне, душа моя уже и не хочет. Все хорошо.

В следующий воскресный день после литургии Петро опять в многоценных одеждах сел на долгогривого коня своего и поехал посетить царя Агона, тестя своего... А за ним и все молодые слуги его.

Царевна, прощаясь и целуя руку его, сказала ему:

– Возвращайся скорее ко мне, звезда моя утренняя!

Так она полюбила его и так смирялась перед ним.

Оставаясь же одна, собирала вокруг себя подруг и рабынь своих, и они ей пели все печальные песни, пока не подавали им с башни вести, что Петро едет назад.

Она спешила выйти ему в сад навстречу в другой одежде, а не в той, в которой утром была, чтобы не наскучить ему.

Крестьяне же тех разоренных сел, на которые Петро деньги послал, все тотчас же призвали строителей и каменщиков и начали строить жилища свои, а всех своих жен, и матерей, и детей малолетних, и старух, на работу негодных, прислали в город благодарить и славить царского зятя Петро. Десятки тысяч

их пришли прославлять Петро, и город исполнился шума, как от войны или восстания. Сам царь Агон испугался и воскликнул: «Что это такое?» С трудом взошел на высокую башню и, сев под зеленый деревянный навес свой, дивился, какая была большая толпа, слышал прославление Петро и видел в зрительную трубу, как ехал к нему в гости зять на белом долгогривом и злом жеребце, как развевалась на нем величаво красная богатая одежда, как старцы сельские спешили ноги его и стремились целовать; а женщины, простирая руки, поднимали к нему детей своих. Так была густа толпа, что ехать Петро почти не мог вперед. Когда же слуги его хотели бичами и палками разогнать народ, то он сделал знак рукой и запретил им это.

Видел все это царь Агон, и огорчился, и подумал: «Он больше моего на царя похож, и если так терпеть, то меня низвергнут и его вместо меня возведут на престол!» Но скрыл до времени свое огорчение и принял опять зятя любезно, и ласкал, и обнимал его, и благодарил его за помощь, оказанную селам.

Петро же, улыбнувшись, сказал ему:

– Государь и отец мой, эта услуга не велика, и я рад тебе, господину моему, услужить. Нет ли еще какой нужды в государстве, чтобы мне порадовать тебя, отец мой?

– Мало ли нужд в государстве, – сказал царь Агон с досадой. – Сам, если хочешь, найди.

– Не прикажешь ли, государь, собрать всех бедных вдов и сирот людей, павших на последней войне противу царя Политекна, и награждать их так, чтоб они из самых бедных стали самыми богатыми гражданами в городе твоём... Таких вдов и сирот достаточно у тебя.

Не полюбилась и эта мысль царю Агону. Он подумал: «И это все его злоумышления, чтобы народ его как Авессалома[66] любил». Но препятствовать царь этому также не мог, чтобы народ на него не озлобился. Тогда он сказал своему зятю, Петро прекрасному:

– Делай, мой сын, как хочешь!

Петро вышел и послал по городу клич кликать, чтобы сзывали вдов, сирот, и стариков, и матерей старых, которых мужья, сыновья и отцы во время нашествия царя Политекна были убиты.

Он вышел из ворот своего сада с царевной вместе; там сели они на престолах за воротами и до поздней ночи раздавали золото, он старикам и увечным мужчинам, а царевна – вдовам и матерям. Люди эти пришли в рубищах, и голодные, и несчастные, а на другой уже день узнать нельзя их было: такие они все стали веселые и нарядные. Старики ободрились, и старухи разукрасились и помолодели. Из самых бедных граждан города стали они самыми богатыми и важными гражданами. Все они говорили открыто: «Что теперь значит царь Агон? Мы Петро прекрасного знаем...» Строго запрещал Петро так говорить людям, но удержать их уже не было возможности. И с первого дня брака в первый раз задумался Петро и стал печален.

– Увы! Нельзя, кажется, всего купить деньгами, – сказал он...

Тогда еще раз спросила его царевна Жемчужина:

– Любишь ли ты меня, мой апрельский цветочек и розан мой майский? И чего ты желаешь теперь для себя?

– Я тебя очень люблю, цветок мой апрель-

ский и майский мой розан, но боюсь, что твой отец, царь Агон, разлюбит меня за преданность ко мне народа, и теперь есть у меня одно желание, чтоб он мне верил и опять бы полюбил меня!

Тогда царевна посоветовала ему так:

– Поезжай еще раз к нему и предложи ему денег, но не говори ему сам, на какое дело ты их израсходуешь, а пусть сам он тебе скажет. Тогда ему не на что будет жаловаться.

Послушал Петро этого умного совета и опять поехал к царю.

Царь принял его любезно и весело, обнял его, целовал и, посадив его с собою рядом, спросил, как его здоровье.

Тогда Петро отвечал ему:

– Здоровье мое твоим благословением хорошо. Но мучит меня неотступно мысль о том, доволен ли ты мной? Часто я думаю, на что мне все мое золото и белое серебро, если я милости твои утрачу? Только глупые люди думают, что в одних деньгах счастье... Любви на деньги не купишь. А я нахожу, что твоя любовь дороже всякого золота и белого серебра! – и прибавил еще: – Услади ты душу мою,

государь, прикажи ты сам мне, какое бы мне дело сделать и какой расход еще предпринять, чтоб это дело было тебе приятно и чтобы расход этот был тебе выгоден. А сам я больше предлагать ничего не буду.

Царь Агон обрадовался, отпустил Петро и созвал совет свой тайный, чтоб ему посоветовали, что у Петро просить.

Царедворцы же и воеводы царские знали сердце царя и согласились между собой:

– Теперь пришло время нам свергнуть иго этого пастуха и пономаря молодого! Он всем завладел, всеми сердцами; сперва сердцем царя, потом сердцем царевны, а потом и сердцем всего народа.

И сказали царю:

– Если, государь, твой зять так любит тебя, то пусть отмстит за твое унижение и смоеет с тебя и народа твоего пятно обиды, которую нанес тебе царь Политекн, победив нас и взяв с нас позорную дань... Пусть Петро снарядит войско на свой счет и пусть сам пойдет на войну эту начальником...

А другой советник сказал:

– И пусть хоть одного из царских сыновей

или внучат сюда пленником живого приведет, чтобы стыдно было царю Политекну и чтобы мы могли за одного этого царевича с него уже не семь, а четырнадцать бочек золота требовать...

Царю, который очень стал бояться Петро, совет этот понравился; он надеялся, что Петро будет либо убит на войне, либо, не умея начальствовать, расстроит войско и заслужит себе за это смертную казнь, от которой не спасут его деньги. Он послал за зятем своим и приказал ему снарядить войско большое на свой счет, сроком в две недели всего, взять его и, приняв над ним начальство, перейти горы и напасть внезапно на царя Политекна. Так приказывал царь Агон и, отпуская Петро, сказал ему еще, проливая притворные слезы:

– Берегись, бедный мой сын, у нас закон старый и строгий: военачальник, который не исполнит своего назначения, должен быть удушен шелковым снурком с золотыми кистями!

Петро поклонился тестю своему и сказал:

– Если, государь, я не исполню моего назначения, боюсь того, что прикажешь уда-

вить меня шелковым шнурком с золотыми кистями; только назначь меня не начальствовать, когда есть старше меня, а быть вторым после великого и престарелого архистратига [67] твоего. Он будет первым, а я вторым, и во всем я ему повиноваться буду.

Удивился царь мудрости и смирению Петро и приказал, чтобы было так, как всегда, чтоб архистратиг был первым, а Петро бы служил у него и повиновался ему.

XIV

Петро по приказанию тестя своего, царя Агона, собрал скоро войско, и вооружил его, и выпустил в поход сам, но под начальством врага своего, архистратига царского.

Злобился и мучился архистратиг, что попал в сети, которые хотел разостлать молодому Петро, но уже не мог ничего переменить и вынужден был побеждать, хотя бы и желал поражения, ибо он был человек способный, честолюбивый и мужественный и на свое имя позора и стыда не желал. Целый месяц опустошали они вместе с Петро области царя Политекна, и множество добычи и пленников отправили на родину доброму царю Аго-

ну, и все не встречали большого войска. Наконец встретили его на широкой долине, и был тут бой великий. Сначала наследник и полководцы грозного царя Политекна начали было одолевать войско доброго царя Агона, но Петро сказал архистратигу:

– Господин и начальник мой, позволь мне, неопытному и юному человеку, тебе совет дать!

Архистратиг отвечал:

– Ты царский зять, как же мне не слушать твоих советов. Говори.

Тогда Петро сказал:

– Дай мне скрыться с отборными молодцами за эту гору, а ты стяни все остальное войско в ущелье, потому что их больше нашего; а когда они за тобой бросятся, я нападу на них внезапно, и мы будем гнать их до самой столицы грозного царя и посечем множество и убьем всех, кроме царских детей и самых молодых и красивых юношей, которых живыми отведем служить нашему доброму царю Агону и веселить его старость.

Архистратиг согласился. И сделал он так, как сказал Петро. Стянули войска, и когда во-

ины грозного царя Политекна в радости с воплями рассеялись по широкой долине, чтобы сечь и рубить отступающих, Петро, помолясь, подал знак своим... Молодцы его полились густым потоком с горы на долину. Как светлый поток лились они, шумя и звеня, с отлогой горы, ибо они все были в медных латах и шлемах высоких с медными крылышками на них. Так одевались новые полки, снаряженные самим Петро.

Встрепенулось войско грозного царя Политекна, рассеянное погоней по широкой долине, стали люди бежать назад к своим и смыкаться снова в тесный строй... Но уже не могли, так как были рассеяны по долине. Архистратиг же вышел из ущелья и тоже гнал их. И падали иные ниц, и просили пощады, а другие притворялись убитыми; иные же не хотели сдаться, и всех их – и бегущих, и упавших, и покорных, и отважных беспощадно рубили и кололи, вздевая бледные головы их на длинные копыя, убранные конскою гривой...

Так гнали войско царя Политекна до самых стен столицы и осадили столицу.

Архистратиг доброго царя Агона в это вре-

мя думал так: «Я хотел погубить этого Петро, а он теперь отличился; ибо я скрыть не могу, что битва на долине через его совет выиграна. Что теперь делать? Был он богат несметно; был он красив непомерно; был он любезен царю Агону, стал он любезен народу всему, а царевне Жемчужине сжег сердце любовью и смирил ее гордость и своеволие... Все ему, анафеме[68], дано... Горе мне, старику, горе мне! Лучше бы ядовитая пуля этих воинов царя Политекна или нож их безжалостно прекратил дни мои и взял бы меня Харон[69], чем терпеть мне такую досаду! Что мне делать?»

И призвав Петро, он сказал ему:

– Твоя милость, я вижу, великий военачальник будешь. И наше царство много увидит от тебя пользы. Но ты, я знаю, еще и благочестивый человек и живешь в страхе Божием. На что нам губить столько народа и своего, и чужого; пошлем вестника в город, чтобы царь Политекн выслал всех своих сыновей, которые при нем, а если их нет, то лучших вельможных детей, под начальством старшего сына и наследника, чтобы числом их всех

было двенадцать, а твоя всеславность вышел бы против них на единоборство с одиннадцатью нашими отроками из лучших домов, и мой сын любимый единственный при тебе первым будет. И какую вам Бог судьбу пошлет, такая и будет; когда вы их побьете, наложим мы на них дань и уйдем, а когда они вас побьют, то, государь мой, из твоих несметных сокровищ заплатим дань грозному царю Политекну, и мы тоже уйдем. Зачем людей томить понапрасну? Город же укреплен очень сильно, и, боюсь, не было бы нам стыда под его стенами.

Петро приложил руки к сердцу и сказал:

– С радостью исполню я приказание твое, так как ты начальник всему войску и архистратиг знаменитый доброго царя Агона.

Протрубили пред войском трубачи и кричали людям, на стене стоящим, чтоб укротили стрельбу, и объявили волю архистратига и царского зятя Петро. Царь Политекн согласился, смеясь, и сказал:

– Мой сын и наследник – воин страшный и сильный; а у них кто там есть? Уж не пастух ли этот, который выручил бедного царя Аго-

на недавно от нашей грозы? Слышали мы и здесь о нем... Придется ему платить еще четырнадцать бочек золота, если пощадит его меч моего старшего сына.

После этого архистратиг призвал тайно сына своего любимого и единственного и сказал ему:

– Дитя мое милое! Вот вам предстоит завтра под начальством Петро, царского зятя, сразиться в смертном единоборстве с одиннадцатью лучшими юношами этого царства. Царевич и все люди у них опытные и мужественные, кроме двоих внучат царя Политекна, которые еще очень юны. Но ты не бойся, дитя мое. Вы выйдете с утра из шатров ваших, и оденетесь во все лучшее, и вооружитесь; и выберу я вам десять помощников с вечера, и назначу их; а ты, дитя мое любимое и единственное, не тревожь напрасным страхом сердце твое, а сделай так, как я тебе скажу. Созови всех десятерых юношей к себе в шатер, и угости их, и скажи им так: «На что нам на такую опасность идти?.. Мы выйдем в поле и подойдем вместе с царским зятем к противникам нашим поближе; а потом оста-

вим его одного и убежим в лагерь, как будто испугались. А его убьют».

Но сын архистратига очень любил Петро; жалостью исполнилась так его душа, что вся утроба его задрожала, когда он подумал: «Убьют нашего прекрасного Петро, и головку его враги на копье взденут высоко!» И пошел он к Петро и, упав в ноги ему, сказал:

– Милый мой Петро, розан мой майский и апрельский цветок... Ты для нас всех, молодых отроков в войске, все равно как царь, даже и лучше царя... Поклянись мне великою клятвой, государь мой грозный и товарищ прекрасный наш, что ты не выдашь меня отцу моему, а я о тебе забочусь.

Петро поклялся, и тогда юноша сказал ему все. Петро подумал и отвечал ему так:

– Поди созови всех этих юношей и вельможных детей на пир в свою ставку и угости их, как бы желая открыть им ту тайну, которую отец тебе доверил, и уговори их; а сам напои их допьяна, чтоб они завтра на рассвете с перепоя были слабы и сонливы и не годны к единоборству... Ты ж делай завтра, как знаешь.

– Я от тебя не отстану, – отвечал сын начальника, – ты для меня почтеннее старшего брата, и страшнее царя, и милее самой младшей сестры в родительском доме.

– Это хорошо! – сказал ему Петро, и они расстались.

Петро всю ночь молился в ставке своей, а сын архистратига угощал (как велел ему Петро) избранных знатных детей в своей ставке. Они все согласились бежать от врага, смеялись тому, как Петро будет убит, и напились пьяны до того, что утренний звук труб не мог пробудить их.

Когда заря только что занялась, Петро кончил молитву свою, оделся и вооружился. Он не надел наружных медных лат, а надел под парчовую короткую одежду свою крепкую и легкую кольчугу, которой совсем не было видно. На голове его был золотой шлем с золотыми же крылышками по сторонам. И из-под шлема кудри ниспадали у него до самых широких плеч. Нож бесценный дамасский был за поясом, и пистолеты, и маленький нож. Отрок за ним нес копьё.

Когда занялась на небе красная заря, заиг-

рали трубы и барабаны и в стане, и в станице вражеской.

Петро вышел на средину стана. И все восхищались его красотой и воинственным видом.

Архистратиг же думал: «Боюсь, не перебил бы он всех двенадцать противников!»

Он приказал позвать скорее остальных одиннадцать бойцов, но они были все пьяны, слабы и сонливы и к бою не годны. Один только его любимый сын вышел готовый. Побледнел архистратиг и сказал сыну в гневе:

– Погибнуть тебе сегодня от вражеской руки!.. И бейся на смерть; анафема[70] тому черному дню и ядовитому часу, в который я родил тебя на свет!

Петро тогда сказал:

– Это не великое несчастье, я выберу лучших воинов простых и одену их в одежды этих знатных юношей, чтобы противники наши приняли их за людей больших.

И собрал десять самых ужасных воинов, таких, что один мог на троих без страха выходить на бой, и одел их, и велел им умыться чище и волосы дорогими мастями умастить,

и одел их всех в свои богатейшие одежды; и ни на одного лат не надел снаружи, а всем им надел снизу крепкие кольчуги и сказал:

– Теперь пойдёмте, и вы делайте как знаете, когда я начну. А пока стойте.

Сын архистратига пошел вместе с ним. Все бойцы вышли под начальством Петро на поле, между лагерем и городскими стенами; тогда ворота столицы открылись, и вышло оттуда сперва большое войско, чтобы охранять своего царевича, внуков царских и знатных юношей на случай измены. Потом выехали и двенадцать всадников в позлащенных латах и шлемах с голубыми перьями; все на вороных жеребцах. И сошли с коней.

Всех впереди шел наследник царя Политекна, знаменитый боец и полководец. Он был уже не очень молод и имел при себе двоих юных, еще безбородых сыновей, ибо братья его, сыновья царя Политекна, были далеко. Он говорил им: «Держитесь ближе ко мне. Я сейчас убью побродягу Петро и вам на помощь приду скоро».

Сперва оба войска молчали, и под стенами, и в лагере, и на стенах народ не кричал ниче-

го.

Но потом из города люди стали кричать, смеяться и говорили:

– Посмотрим, что сделает ваш богатый пастух! Здесь железо ядовитое нужно, сердце в груди, а не бочки с золотом!..

А люди из лагеря отвечали им тоже ругательствами.

И наследник сам был весел сначала, но когда остановился он пред Петро и взглянул на него вблизи, взял его внезапный страх, и он сказал, обращаясь к Петро вежливо:

– Здравствуй... Господин мой и царский зять. Здоров ли ты? Хорошо ли тебе?

А Петро, улыбаясь, отвечал ему вежливо:

– Я здоров, и мне хорошо, а скоро и еще лучше будет. А и тебе, господин мой, воину знаменитому, неприлично в крепких латах выходить, когда мы без лат. Ты знаменитый воин, и волосы твои побелели уже; а я безбрадый пастушок глупенький... Хорошо ли будет, если мы вас всех в латах да сами без лат победим?..

Смутился старший сын царя Политекна и велел всем своим снять латы; и в смущении

своим о кольчугах и не подумал; ибо Петро ему казался очень велик, и широк, и смел, и в это время трубы трубили и барабаны играли и в лагере, и в городе, и он был очень смущен.

Тогда оба вождя крикнули своим:

– Айда! Вперед! – и кинулись в смертный бой. Недолго бой этот длился.

Внуки царские не хотели от отца отходить, и осталось с их стороны от этого противу одиннадцати врагов только девять человек.

Один вельможеский сын был сразу убит копьём в глаз, и копьё в затылок ему вышло насквозь.

Другой ранил копьём и ножом двоих воинов царя Агона, и они упали; но один из раненых, падая, вынул из-за пояса пистолет и выстрелил, и попала одна пуля другому вельможескому сыну в грудь; и вынул этот воин другой пистолет и выстрелил, и та пуля попала ему прямо в рот. Кровью наполнился рот его, и он только успел вскрикнуть:

– Маменька моя! Маменька милая! – и умер.

Тогда все остальные семь сынов вельможеских побежали к своим; а страшные воины

добрého царя Агона погнались за ними и хотели всех их убить; но народ со стен стал кричать:

– Оставьте, оставьте, не бейте у нас всех княжеских детей... Мы за них выкуп дадим!..

Остановились люди царя Агона; а княжеские дети вскинулись на коней и ускакали в город.

В это самое время Петро и старший сын царя Политекна сломали оба копьѳа, и вынули мечи, и хотели биться мечами; но Петро сказал:

– Брось меч, государь мой, и я брошу мой и поборемся просто руками. Кто кого поборет, тот сделает тому что хочет!

Сказал же он потому, что опасался искусства и опытности противника своего на мечах.

Они оба бросили мечи и стали бороться, и ощупал руками кольчугу сын царя Политекна под платьем Петро и сказал:

– Ты, пастух подлый, обманул меня...

И закричал сыновьям своим:

– Бейте, дети, его сзади сильнее, в самые почки...

Тогда вырвавшись, нагнулся взять опять нож свой с земли, но Петро стиснул ему грудь так сильно, что у того выступила кровь в рот... Он захрипел и упал.

Петро оставил его и вдруг обратился на юных детей его...

– А вы, мои деточки, что пришли сюда? – и сбил с них разом руками золотые шлемики их; тогда черные кудри их рассыпались у них ниже плеч, а Петро схватил их обоих за волосы и потащил к своему лагерю, смеясь, и отдал их своим воинам.

После этого Петро возвратился в лагерь, а люди царя Политекна понесли в город наследника, который был как полумертвый от ушиба.

Сзади Петро воины царя Агона несли своих убитых и впереди других – тело молодого его друга, архистратигова сына, которого проклял в гневе отец. Его, когда побежали княжеские дети от воинов царя Агона, застрелил один из них, обернувшись.

Возвратившись в лагерь, Петро стал посреди и сказал воинам так:

– Воины доброго царя Агона! Меня тесть

мой и государь хотел назначить воеводой над всеми вами, но я, смиряясь в неопытности моей, опасался нанести вред народу и подчинился начальству архистратига. Однако и под его начальством Бог помог мне в долине той, которую вы знаете, победить войско грозного царя Политекна и осадить столицу его. Теперь узнайте же коварство и злобу вашего архистратига. Вот что он замыслил противу меня вчера.

И Петро рассказал все как было: и как уберегся он от козней архистратига, и как друг его молодой выдал отца, который и царю своему, и всему народу хотел погибели, лишь бы зависть и злобу свою противу Петро насытить.

И сказал еще Петро:

– Теперь судите нас с ним сами. А я, по возвращении домой, каждому из вас по небольшому бочонку золота дам!

Как только он это сказал, воины бросились на старого начальника своего и искололи его копьями, и мечами рубили, и хотели отрезать ему голову и как вражескую вздеть на копье, но Петро запретил это поругание, приказал

убрать тело и везти его домой, чтобы похоронить вместе с телом сына его, с почетом и пышностью.

Потом, когда вечером царь Политекн прислал просить мира и повезли уже из города четырнадцать бочек золота, Петро возвратил эти бочки назад и велел тайно сказать царю Политекну: «Грозный и справедливейший царь из всех царей, Петро, зять царя Агона, низко кланяется тебе и говорит вот что: чего другого, а золота у него так много, что он и тебе еще своих может подарить много бочек. Поэтому он твоих не желает, а просит тебя помнить только, что сына твоего и наследника он не убил, а только ушиб, и внучат твоих милых тебе невредимыми возвращает; он мог бы их пешком у стремян своих заставить как пленных идти, когда будет в столицу царя Агона с торжеством въезжать. Но, уважая тебя, он этого сделать не может. У Петро при тебе его много врагов и завистников, и завсе, что он уступает тебе, просит он одного лишь: если придется ему бежать в несчастий от царя Агона или о помощи какой-нибудь просить тебя, помощи ему и прими его, как союз-

ника и верного друга!» Царь Политекн со скрежетом зубов принял тайного посла от Петро и показал вид, что радуется уступкам его и союзу, и все обещал исполнить. Но по уходе посла сказал своим:

– Мерзкий простолюдин этот и пономарь счастливый унижил нас – и теперь дарит и ласкает! Не прощу я ему этого и не забуду, что он и в единоборстве сына моего обманул, надев кольчугу! Мне дары и благодеяния его мерзки!

И царедворцы согласились, говоря:

– Когда бы там, у царя Агона, прогнали или убили его! И тебе бы, государь, об этом постараться при случае.

Петро же, полагая, что он теперь всех хитрее, и счастливее, и сильнее, с торжеством возвратился домой. За войском везли тела ненавистного ему архистратига и милого друга его, архистратигова сына, который из любви к нему отца своего ему предал.

По возвращении войска с войны, когда добрый царь Агон узнал о победах и подвигах прекрасного Петро и о жестокой и позорной смерти любимого архистратига своего, он ис-

пугался, скрыл в сердце печаль свою и со вздохом сказал:

– Теперь мы все в его власти!

Он после этого смирился совсем пред зятем и не обнаруживал ему более ни зависти, ни вражды.

Царедворцы же его, которые были Петро враги, говорили между собою:

– Нам и убить его теперь неудобно; как бы нас не растерзал народ. Все бедные люди от него золота ждут! А теперь, после великих подвигов своих на войне, он еще больше распухнет и превознесется!

А Петро между тем смеялся и, успокоившись в гордости своей, думал так: «Никогда я не поколеблюсь уже более! У меня теперь все есть, и я все умею делать!»

Он предался после этого спокойствию и неге с молодою женой; они всячески старались увеселять друг друга, и Петро отдавал ей всю свою душу.

Царевна же Жемчужина скорее пресытилась им и думала про себя: «Чем бы мне еще утешиться?» И придумав, ласкала Петро и говорила ему умилительно:

– Господин мой, Петро! Что я тебе скажу...
Позволишь?..

А Петро отвечал ей:

– Зачем тебе, царской дочери и возлюбленной моей супруге, благоуханнее и милее которой я не видывал девицы, зачем тебе говорить мне так: господин мой!.. Ты мне госпожа и очи главы моей!

– Все-таки ты мне муж, и я должна почитать тебя, – сказала царевна.

– Говори, что ты желаешь! – приказывал ей тогда Петро.

– Есть у меня подруга, тоже царская дочь; она прежде ко мне в гости приезжала вот как: сама на белом большом муле разубранном, из дальнего Египта его купили. А за ней двадцать пять подруг и служанок на черных больших мулах, и двадцать пять евнухов черных, и двадцать пять евнухов белых, и 200 человек отборного войска с копьями; только без музыки она ехала. А я хочу теперь съездить к ней и погордиться пред нею, что я гораздо лучше ее. Прикажи, чтобы для всех подруг и служанок моих из Египта белых мулов и ослов больших привезли, и чтобы евнухов

было около меня пятьдесят черных и пятьдесят белых, и войска чтобы было еще больше, и чтобы всю дорогу, как я поеду, играла предомной музыка.

– Хорошо, – сказал Петро.

И тотчас же снарядил корабли в Египет, чтобы везли скорее белых ослов и мулов и войско изготовили бы все в роскошном одеянии.

Когда привезли белых ослов и мулов и все было готово к путешествию царевны, кормилица ее, которая ненавидела Петро, сказала ей:

– Что ты радуешься и гордишься? Ты бы попросила мужа, чтоб он велел всех мулов и ослов этих серебром чистым подковать слабо, чтобы, как в город будешь въезжать к подружке своей, так подковы бы эти падали и народ бы подбирал их. Посмотри, он тебе откажет в таком великолепии!

Сердце царевны раздражилось; она пошла к мужу и сказала ему так, как говорила кормилица, и прибавила:

– Я тебя царским сыновьям предпочла и всячески пред тобою смиряюсь, поэтому и ты

должен уважать меня!..

– Я уважаю тебя! – отвечал Петро. И приказал, смеясь, подковать не серебром, а чистым золотом, и не только тех белых ослов и мулов, на которых царевна и другие женщины должны были ехать, но и всех коней под евнухов и под войско.

Царевна поехала к подруге своей, превознесенная от гордости и от радости, и в той стране все изумлялись и завидовали ей. Народ бежал за ней по улице и подбирал золотые подковы.

Возвратившись домой, царевна начала опять думать, что бы еще удивительное достать или сделать.

И каждый день придумывала, а Петро, хотя и занят был ум его царскими делами и ежеминутною опасностью от врагов, и завистников, и даже от самого доброго царя Агона, которому он не верил, однако он старался исполнять все ее пожелания, даже и самые пустые. Часто он думал так: «Никому я верить не буду; только Жемчужине, жене моей». И всю душу отдавал ей, однако и ей не открывал, откуда у него столько денег и где он

достаает.

Один день увидала царевна в лиловое стекло окошечка, что луна в это стекло не желтая, а как бы розовая, и ужасно обрадовалась и приказала: «Чтобы все стекла были в зале лиловые! Пусть у нас и луна будет не такая, как у других, у простых людей!»

В один день переменили все стекла. А на другой день она взяла сама трость и начала бить их сама, и служанки ее бегали за ней и тоже били все лиловые стекла.

Услыхал Петро звон этот и шум и спросил:

– Зачем вы бьете стекла?

Царевна же подбежала к нему и воскликнула:

– Радость моя... Я так испугалась, чтобы ты не разлюбил меня... Даже дурно мне сделалось... Очень бледное, точно у мертвого человека, сделалось мое лицо от этих стекол. Румянца не видно. На что ж мне розовая луна, когда я от этого буду дурная? Пусть лучше она уж будет и у нас желтая, как у всех людей...

Петро смеялся и ничего ей не сказал; а себе сказал так: «Очень жена моя любопытна, и весело с ней. Я такой не видывал!»

Потом царица хотела таких плодов купить, какие в царстве их не росли, а надо было два-три месяца из-за моря везти. Потом говорила:

– Умираю я теперь, до того мне хочется видеть, какие у обезьян дети бывают и как они сами за ними смотрят.

Обезьян в царстве их не бывало; а до Египта было далеко. Потом говорила:

– Хочу я снега летом, а зимой хочу всяких плодов, таких, какие зимой не бывают...

Снаряжал Петро дорогою ценой корабли за этими плодами плыть; корабли потонули; снарядил другие, еще дороже. Привезли плоды. Но царица не стала их есть и сказала:

– Так долго ехали! Теперь пусть их поросята едят!

Послал Петро нарочных людей за разными редкими обезьянами. Людей нарочных там, где были эти обезьяны, людоеды поймали и съели, и они не вернулись. Послал Петро побольше людей к самому царю в Египет просить обезьян. Множество денег истрачено было, и обезьян достали, и некоторые из них, самые нежные и редкие, издохли в пути. А ко-

торых привезли, те царевне не понравились, и она сказала.

– Надоели мне эти обезьяны. Что в них?

И не стала заниматься ими.

Потом, когда она начала жаловаться, что муж не может учредить все так, чтобы зимой все цветы цвели, какие зимой не бывают, а летом чтобы снег падал, Петро уже оскорбился немного и сказал:

– Довольно с тебя, Жемчужина, и деньги воздуха не переменят.

Этот ответ огорчил царевну, и она тайно жаловалась кормилице своей, говоря:

– Что ж деньги могут? Не в тот самый день привезли мне плоды, а чрез многие месяцы! И обезьяны лучшие подошли в дороге, и воздух переменить муж мой не может!

Кормилица радовалась ее огорчению и говорила:

– Много больше сделать может муж твой с такими деньгами, но не хочет. Деньги все могут, но ты не властна над сердцем его. Испытай его еще в чем-нибудь.

Царевна думала долго и призвала к себе всех строителей, и художников, и мастеров

лучших, какие были в царстве доброго царя Агона, и выписала еще нескольких из соседних царств, и сказала им:

– Мне надоел этот дворец мой. Он и мал, и обыкновенный. А я хочу такой дворец, какого ни у кого еще не было!

Долго думали все художники и мастера, порознь каждый и все вместе, совещаюсь. И все, что придумывали, говорили царевне; а она отвечала им:

– Что тут дивного! А вы помните, что муж мой, когда захочет, все может! Так у него денег много!..

Наконец один иноземный зодчий сказал царевне:

– Я, царевна и госпожа моя благая, придумал нечто такое, что понравится, быть может, твоему величию и будет тебя достойно. Мы сделаем куполы огромные, больше, чем на Св. Софии, а кругом под ними сделаем много окошек!

– Сделай тысячу окошек, – сказала царевна.

– Нет, – отвечал зодчий, – тысячу я не сделаю, а сделаю я девятьсот девяносто девять,

потому что это будет важнее и ты больше прославишься. На каком ты языке ни скажи «тысяча», все будет слово малое и ничтожное; а на всех языках «девятьсот девяносто девять» будет важнее. Скажи ты по-эллински [71]тысяча – хилиа! Не важно. А скажи ты: эниакосиа энеинда энэа. Великая разница! Скажи ты по-агарянски тысяча – бин! Еще ничтожнее, чем по-эллински; а скажи ты по-агарянски же: токуз юз токусен токус! То гораздо славнее будет и твоему величию сообразнее.

Царевна отвечала ему на это:

– Мне нравится, мастер, то, что ты говоришь!

Зодчий продолжал:

– И еще я скажу тебе, государыня моя, слышал я, прости мне, будто, твоя милость, скучаешь иногда – зачем зимою не лето, и летом зачем не зима. Хорошо делаешь ты, что недовольна этим, потому что у супруга твоего богатство несметное; и хотя воздух точно что переменить деньгами нельзя, но есть зато у людей искусство и разум. Я сделаю тебе во дворце твоем две огромные залы. Одна будет зима, а другая будет лето. Летом ты можешь,

когда эти храмины будут готовы, сидеть в той, которая будет изображать зиму, а зимой утешаться, сидя в той, которая будет изображать лето.

Царевна восхитилась и спросила:

– А как ты их сделаешь?

– Зиму, – отвечал художник, – я изображу так. Из лучшего белого мрамора, который местами как снег блестит, я сделаю тебе великий киоск круговидный; потолок киоска будет под великим куполом образован и тончайшим изваянием[72] весь покрыт. И будешь ты думать, что потолок этот не мраморный, а тончайшей деревянной резьбы, покрывшейся нежным инеем. Окружен киоск будет решеткою узорной необычайного великолепия, и тонкие изукрашенные ваянием столбики (все по два, по два на приличных расстояниях) будут также изображать столбики деревянные, резные, как будто покрытые инеем. И из лучшего белого хрусталя изображу я натеки ледяные, неравномерные по краям крыши киоска. А диван вокруг из белого атласа с серебряным шитьем; все будет в храмине белое; пол киоска будет только один

цветной, и будет он такой, как будто ты приказала постелить для тепла царских ног своих красный ковер с небольшими фигурками. А в самом деле ковер этот будет холодить, а не греть, ибо он будет мозаичный, и красное поле его будет из кораллов составлено. На стенах за решеткой и столбиками киоска закажу я лучшим живописцам изобразить сосны, и кедры зеленые, и такие деревья, которые зимой листья теряют, и речки замерзшие, и домики дальние... И все в тумане, и в снегу, и в ледяных сияющих радугой кристаллах, и в узорном инее... И еще пропущу я откуда-нибудь свет на все не сквозь простые, а сквозь алые стекла, чтобы думала ты, что видишь пред собою сладкий свет алой зари печального вечернего часа... В такой-то храмине ты будешь летом прохладой и размышлением заниматься.

Царевна еще более прежнего восхитилась и, всплеснув руками, воскликнула:

– Живи, живи, мастер мой дорогой! И будь ты вечно здоров, и достигни ты глубокой старости... Как ты мое сердце обрадовал! Говори, говори скорей о другой храмине, о той, кото-

рой лето изобразишь и в которой я лютою зимой буду греться и веселиться, когда другие люди будут дрожать...

Мастер продолжал:

– В этой второй храмине многое подобно первой. А многое вовсе иное и несходное. И в ней будет обширный и отлогий купол, подобный куполу Св. Софии, и в ней будет под куполом не тысяча, а девятьсот девяносто девять окон, все из круговидных стекол. Внутри также будет киоск; до сих пор сходство их, этих двух великих твоих храмин. Далее же настает черед различию. У киоска второй храмины крыши, с самим куполом сливающейся, не будет, а будет наверху лишь великий круглый венец из колосьев, злаков и диких цветов, в поле растущих; вязь великую круглую они образуют; возложен будет венец этот на высокие столбы круговидного киоска, на столбы, попарно все стоящие, и промежутки от пары до пары должны быть приличные. Столбы эти изобразят тоже как бы снопы, на снопы поставленные, снопы из пшеницы, и маиса[73], и ячменя, и из других злаков с травами и цветами. И такая же будет решетка

круговая вокруг всей этой храмины. И венец наверху, и столбы, и решетка будут либо из серебра золоченые, или из чистого золота. Это уже твой выбор и твой расход, государыня. Цветы будут из разноцветных дорогих камней; мак полевой, красный, в пшенице распускающийся, будет из лучших кораллов; а зерна маиса – из настоящего жемчуга. Диван сама изберешь какой тебе угодно – драгоценный златотканый или иной, сообразно с местом. Это твой выбор, государыня. Но в промежутках между столбами золотыми я прикажу лучшим художникам мозаической тончайшею работой изобразить пригорки, и виноградники, и ручьи, жнецов молодых, и девушек у фонтанов, и ловцов, зверей травящих, и виноградарей, виноград собирающих, и сады, и леса, и жилища людские. На полу, если желаешь, расстелешь особый, невиданный никем и удивительный ковер, который ты в Азии заказать можешь, чтоб он был и зелен, и многоцветен, как прекрасные летние дни, я же знаю свое дело и сделаю пол мозаичный тоже зеленый и многоцветный, летнему лугу совершенно подобный.

Купол обширный над киоском, сверху отверстием, я весь сделаю мозаичный, голубой с небольшими облаками; а по небесной лазури будут лететь туда и сюда крылатые прекрасные херувимы с младенческой улыбкой, радуясь на благорастворение воздуха[74] и на обилие плодов земных. И если желаешь ты, чтобы богатство было неслыханное, то всю небесную лазурь мозаики я в куполе из многоцветной бирюзы сделаю... Это уж твой выбор, государыня, и твоего супруга расход... Согреть эту храмину самую лютой зимой будет нетрудно; можно, если желаешь, и снизу незримо ее согреть наподобие бани... Можно и иное средство найти...

– А еще что? – спросила царевна.

– Еще, государыня, вот что. Эти две храмины, снаружи восьмиугольные, соединены будут длинным обиталищем. И будет в этом обиталище множество удобств и покоев отдельных; но об этом мы после рассудим. А пока я скажу тебе только, какие будут у тебя трапезы и сколько их будет. И это будет не без мысли и мудрости. Прошу я тебя, государыня, скажи мне: сколько в неделе дней? Не семь

ли?

– Конечно, семь, – сказала царица.

– А сколько, царица, цветов в радуге?

Царица затруднялась, и мастер сказал ей, что тоже семь, назвал их все и еще спросил: «А сколько у тебя самой, государыня, даров прекрасных есть?..»

Царица покраснела и спросила:

– Это что за разговор? Почему я знаю мои дары! И что тебе до того! Это не постройка!

Но мастер, поклонившись ей в землю, просил позволить сказать ей, сколько у нее даров, и она соизволила.

– И даров у тебя семь, – сказал он ей тогда. – Красота телесная знаменитая, разум, милосердие, приятность, царский род высокий, любовь супружеская и целомудрие. И вот я сделаю семь трапез зимних, солнечных и веселых, на полдень окнами, и семь летних трапез, бессолнечных и прохладных. Будут они раскрашены и убраны по цветам радуги, и будешь ты кушать с супругом чередом в разных; в воскресный день в красной, а в субботу в фиолетовой, в последней. И это еще не все...

Царевна, слушая его, стала как бы исступленная от удовольствия.

Мастер же продолжал, улыбаясь ей и радуясь тоже, как он прославится и обогатится этою постройкой.

– Сказал я, что обе восьмигранные великие храмины будут соединены длинным домом жилым и более низменным, чем эти две храмины. Сказал я еще, что будут на обеих великих храминах обширные куполы, но я не сказал, что куполы эти будут снаружи золочены и что они будут снизу окружены двумя венцами круглых главок, шаровидных, таких, какими в великой Индийской стране капища[75] украшают зодчие; первый венец, нижний, будет казаться крупнее, а второй, верхний, – мельче; потребуются же их, глав этих, множество... Наверху купола будет тоже соразмерная небольшая подобная же главка; так будет на обеих храминах... А жилой дом, соединяющий их, кровли иметь не будет, а широкую террасу для прогулки, и по обеим сторонам террасы, во всю длину одной ограды ее и всю длину другой, будет идти от храмины ко храмину ряд таких же индийских глав шаровид-

ных. Все эти главы и на куполах, и вокруг их, и по сторонам террасы будут по твоему выбору, государыня, либо тоже золочены, либо, еще лучше, покрыты многоцветною глазурью наподобие изразцов или фарфора. Вот что я задумал, моя государыня. А что нужно будет еще, тогда увидим и скажем...

И художник, снова поклонившись царевне в землю, ушел.

Царевна не знала после этого, что ей делать; она боялась даже мужу все это изобразить и рассказать, как бы ни отказал он ей. И так она обезумела от пристрастия к знаменитому дворцу этому, что спать по ночам не могла и пищу есть перестала. И беспрестанно говорила кормилице:

– Умру я с горя, если он мне в этом откажет! Теперь я этот дом, который отец мне построил, не могу видеть. Он мне кажется самым простым жилищем!

Кормилица все раздражала ее, отвечая:

– Я тоже думаю, что муж твой откажет в этом тебе. Он скуп.

И царевна опять не знала, что делать.

В то время, когда царевна Жемчужина за-

думала строить новый дворец, Петро был очень занят делами и не замечал беспокойства жены. Люди царя Политекна тайно подкупили людей царя Агона противу Петро на те самые четырнадцать бочек золота, которые он подарил царю Политекну, и Петро еще не мог понять, откуда идет зло и откуда идут ему во всех делах препоны и труд. Еще он был огорчен и смущен тем, что те самые поселяне, которым он роздал после войны столько денег на поправку жилищ, не хотели уже работать, и поля их оставались невспаханными, и податей они не платили, и хлеб надо было в чужих странах покупать. Из тех воинов также, которые убили врага его архистратига старого и которым всем по бочонку золота роздал, многие хотели разойтись по домам на отдых, и убежали, и сотникам не повиновались, и пьянствовали, и увидел он, какова неблагоприятность и гнусность народа, который он осыпал щедротами! Его огорчило это и прогневало, и должен он был с сокрушенным сердцем сперва из воинов многих наказывать и казнить, а потом на села с войском идти и селян угрозами и побоями принуж-

дать к соблюдению порядка. Когда одному сельскому человеку воины заключили в колодки ноги, чтобы бить по ним тростями, человек этот закричал: «Петро, Петро прекрасный! Сам ты человек простой, а простых не жалеешь ты!» И сердцу Петро это слышать было горько, хотя он все-таки приказал нака-зывать этого человека.

Даже во дворце, том самом, в котором он жил с царевной, поймал один верный раб его человека, который хотел умертвить Петро, и этого человека пытали и денег ему предлагали, но он сам не мог сказать, кто такой его подкупил, а говорил только: «Люди!» Его повесили на дереве. Было же это все от царя Политекна и от его сына, знаменитого воителя, которых Петро унизил и обманул, надев кольчугу.

После этого стало ему невесело и в самом дворце у царевны Жемчужины, потому что он этою кольчугой стал себя ежедневно обременять под одеждой, остерегаясь ножа, и когда он за обед с женою садился, то три особо для этого назначенных человека должны были приходить и каждого кушанья есть при

нем по нескольку ложек, чтобы не отравили его.

Видев его заботу и смущение, царевна, жена его, не осмеливалась долго сказать ему о задуманном ею великом здании, и только все на стены и потолок старого дворца смотрела, а когда муж спрашивал: «Что ты смотришь на стены и потолок?», царевна ответила: «Потолок этот очень низок для царского жилища, и все эти изразцы и розы мне наскучили!» Но Петро ответил ей: «А мне нравится все это!» И она после этого молчала.

Наконец сказала она ему:

– Ты мой майский розан и апрельский цветок, или не видишь, что жена твоя бедная и не спит, и не ест?

И открыла ему, ласкаясь, свой замысел, прося выслушать художника самому.

Наскучили давно уже Петро все эти замыслы, и сказал он ей опять:

– Довольно с тебя, моя Жемчужина. Полно тебе все нового желать. И так хорошо. Мои руки устали уже насыпать в бочки золото для твоих утех. Я целые дни чрез тебя в подвалах провожу.

Но царевна ему:

– Ты бы только выслушал этого мастера!

Когда услышишь речь его, сам пленишься.

Велел позвать мастера Петро и принял его благосклонно; слушал долго и потом сказал:

– Хорошо здание будет! А сколько времени на него нужно тебе?

– Три дня? – спросила царевна.

Художник сказал:

– Три года, с величайшею трудностью.

– А на что ж деньги наши! – воскликнула царевна.

Зодчий разъяснил ей, что никакими деньгами нельзя создать иных вещей внезапно; что бирюзу и кораллы для мозаик бесценных и жемчуга для колосьев маиса в зимней хранине надо издалека привозить, и рабочих людей и мастеров по разным странам собирать, и время тоже хоть и сокращается деньгами, однако не совсем. Петро в утешение жене сказал смеясь: – Я бы, милая моя, из тех семи трапез, которые мастер хочет тебе учредить, одну исключил, – это трапезу твоей разумности... Или ты не понимаешь, что тебе же приятнее будет не спеша заниматься со-

зданием такого прекрасного дворца? А скоро построишь – и в нем, быть может, соскучишься...

Царевна Жемчужина отвечала:

– Ну, хорошо! Это правда, что ты гораздо меня разумнее, – и успокоилась немного.

Петро же находил все это лишним; к тому же нередко и вера слабела в нем, что кошелек неистоим, пока Христо и Христине дом не готов; он не без страха всякий раз спускался в подвал и раскрывал кошелек над бочками, думая: «Может быть, сегодня уже ничего не посыплется из него! И я, исполняя волю жены моей, лишу себя после всего!...»

День ото дня он этого стал больше и больше бояться, и не греха того боялся, что он воспитателей своих забывает на дальней чужбине и в нищете, а боялся одного, чтобы кошелек не иссяк.

В этих опасениях еще больше стала наскучать ему царевна Жемчужина своими просьбами; ибо только что он наполнял сотни бочек золотом на тот случай, что завтра кошелек иссякнет, как государство, и жена, и другие люди требовали новых больших расходов,

бочки пустели, и опять он исполнялся страха, и опять шел сыпать в подвал, говоря: «Не иссяк бы кошелек завтра! Кто знает!»

Поэтому, призвав тайно от царевны знаменитого зодчего, он сказал ему:

– Ты можешь ли мне зарок дать, что кончишь все здание в три года?

Зодчий сказал:

– Могу постараться, государь, когда, твоя милость, золота жалеть не будешь.

– Я не буду жалеть, – сказал Петро, – но если ты день опоздаешь, я тебя казню. Но и до тех пор пока ты не кончишь, я тебя здесь под стражей содержать буду, чтобы ты никуда уйти не мог и скрыться от боязни моего гнева, если увидишь, что окончанием запоздал!

Художник ужаснулся и в ту же ночь тайно бежал из царства царя Агона.

Петро этого самого и желал и смеялся. Но царевна Жемчужина, которой великий и прекрасный дворец ее не давал ни сна, ни покоя, горько рыдала и рвала свои волосы, жалея об этом, не смотрела на прекрасного мужа и, заворяясь одна в своей комнате, никого не хотела видеть.

Петро смутился, пожалел ее, пришел к ней и сказал ей:

– Неужели, Жемчужина, я, молодой муж твоей, уже тебе не утеха?

Но царевна, отстраняясь от него, отвечала ему, горько плача:

– Жизнь бы я отдала за такой прекрасный дворец!

На это Петро сказал ей ласково:

– Подожди еще хоть немного. Есть вещи нужнее такого дворца. От него никому, кроме нас с тобою, удовольствия не будет. Я еще хочу по всем городам мостовые поделать и на речках множество мостов, чтобы нас народ больше любил, потому что тогда сельским людям в непогоду легче будет овощи и хлеб на вьючных ослах в город привозить. Ослы падают теперь, тонут и не могут идти, и в городе все дороже. Это полезно. А я не могу в подвале все жить. Надо прежде эти бочки, сколько есть теперь, на полезное для народа опростать. Что ты скажешь, мой апрельский цветок?.. Не лучше ли мостовые и мосты кончить прежде?

Царевна в гневе отвечала ему неразумно.

Она отвечала ему так:

– Что я тебе скажу, ты спрашиваешь? Я скажу тебе одно только любопытное слово, которое мне моя кормилица говорила, когда я еще мала была. Она сказала мне: «Шли два мальчика мимо прекрасного дерева. И один мальчик сказал: “Какое хорошее дерево! Я бы его срубил на дрова и на уголья!” А другой мальчик сказал: “Какое хорошее дерево! Я бы под тенью его сидел и музыку слушал!” Слышал их один мудрый и опытный старец; этот старец воскликнул: “Первый мальчик простой, а второй мальчик высокого рода и голубой крови дитя”. И было это так, как сказал старик». Вот что я тебе отвечу о твоих мостах и дорогах!

Петро сильно оскорбился ее словами, но, преодолев гнев свой, отвечал ей, помолчав и пожирая сам себя в терпении своем:

– Много хороших слов твоя кормилица знает. Правда, я человек простой и о простом размышляю. Только в простоте моей я народ твоего отца, государя нашего, от жестокого побоища избавил и самого царя от плена и ослепления глаз его; и ты бы, если бы не я, те-

перь бы воду у царя Политекна, может быть, носила и мыла ноги старшему сыну его и старшей невестке и за счастье бы считала, если бы тебя худшему поруганию не предали там!

После этих слов он ушел от нее и так был огорчен, что утратил сон, и на рассвете в беспокойстве и горести вышел за ворота своего дворца, строго запретил кому-либо из слуг и сторожей за собою следовать и, отошедши подальше, в пустынное место у реки, сел и предался там своей тоске и размышлению. Он говорил себе так: «Все мне сильные люди здесь стали врагами и завистниками; а народ простой хуже непотребной женщины продажен, я вижу, и глуп как дитя. Все дела мне здесь тяжки и опасны. Я бы ушел, но куда я пойду? Пойду я к царю Политекну – разве я там сильнее и больше буду? Нет, я там буду много меньше, чем здесь. Пойду я домой к Христо и Христине и построю им дом большой и поле куплю... Но мне не весело уж теперь будет у них, испытав здесь все лучшее. У них из царского зятя и престолонаследника я купцом стану, из полководца земледельцем, и вместо

жены моей, несравненной Жемчужины, которой красивее и приятнее, забавнее, и благоуханнее, и веселее нет на свете и которая царская дочь, а мне ноги мои моет, вместо нее возьму я там какую-нибудь простую соседку нашу! Жемчужина к тому же и законная супруга, Богом мне данная. Как мне оставить ее одну? Еще скажу, и страсть моя к ней так велика, что мне легче сейчас на смертельный бой с пятью царями и войском их выйти, чем ее огорчить и ей поперечить. Но и деньги все издерживать страшно мне! Если завтра как-нибудь вдруг кошелек иссякнет, боюсь я!..»

Он мучился нестерпимо волнением этих мыслей, и борьба сердца его была самая тяжкая, покуда он сидел в уединении на берегу реки.

XV

В то время, когда Петро в печали своей, размышляя в сокрушенном сердце, сидел один у реки, внезапно явился пред ним один юродивый, давно живший в городе, по прозванию Синдонит[76], потому что он, кроме старой простыни, никакой одежды не носил ни летом, ни зимой.

Юродивый Синдонит был ростом очень мал, на спине имел горб, грудь у него была острая, как у птицы, голова велика непомерно и без волос, борода клинообразная, вперед стоящая, и тело не было у него, как у других людей, блее лица и рук, но все черное, обожженное солнцем и сухое, изможденное постом.

Многие считали в городе Синдонита святым, а другие – лицемером и безумным. Ни золота, ни серебра он не брал никогда от людей, а только медь, и часто и вовсе нагой ходил, потому что другим нищим отдавал свою простыню и ходил безо всего, пока ему другой не дарили. И эту опять отдавал. Иные, не веря в святость его, отвращались и брезгали его наготою и безобразием, и жаловались царю Агону. Царь Агон приказывал страже везде смотреть за Синдонитом, чтоб он впредь без простыни не ходил. Но Синдонит, узнав это, издала перед стражей надевал простыню и проходил мимо, а потом, сняв ее, брал подмышку; простые люди и дети на базаре смеялись этому, радовались и говорили: «Хитрый юродивый!»

Однажды, еще прежде того дня, как поссорился Петро с женою Жемчужиной, вышла из ворот царевна с подругами своими, и кормилицей, и слугами погулять под платаны и вязы; и Синдонит пришел туда. Царевна, увидав его, приказала детям городским и молодым слугам дворцовым смеяться над ним, испугать его насильно в реке, гонять его туда и сюда и прыгать на его горб. Когда же один большой слуга вспрыгнул на его горб, Синдонит упал и ушибся.

Петро в это время, возвращаясь из города домой, увидел это и велел его отпустить домой, дал ему медных денег и беседовал с ним ласково, а Жемчужине сказал после, когда она была одна:

– Милая моя, прошу я тебя, никогда не обижай таких Божиих людей. Лучше другого человека убить, если необходимо, чем такого святого обидеть.

И царевна просила его простить ей, ибо тогда она только одного и желала: нравиться молодому и прекрасному мужу своему и спасителю от бесов и от недуга, которыми она долго страдала.

Этот самый юродивый Синдонит явился пред Петро в то утро, когда он, погрузившись в тяжелые помыслы, сидел в уединении на берегу реки и никуда не смотрел, а чертил пальцем по песку, вздыхая.

Петро, видя Синдонита, сказал ему:

– Здравствуй, Божий человек, чего ты желаешь?

Синдонит отвечал:

– Я желаю, чад очко Божие, вот чего: я желаю, чтобы ты меня послушал и исполнил то, что я скажу тебе.

– Говори, – сказал Петро. Тогда юродивый воскликнул:

– Петро, Петро, прекрасное чадочко Божие! Петро, Петро, дитя души человеческой! Петро, Петро, сын праха земного! Петро, Петро, хороший человек!

Петро, Петро, грешный человек!.. Петро, Петро, слушай меня, который еще хуже и грешнее тебя. Люби ты плоть свою, Петро, люби, Петро, люби жену молодую, Петро; но не люби ты, Петро, ни плоть свою больше души своей, ни деньги больше правды, ни жены молодой больше Бога!..

И, сказав это, заскакал он, как скачет дитя или как молодой козленок, играя, и скрылся за деревьями.

А Петро, хотя и смутился немного его словами, и начали мысли его принимать иной путь и другое течение, однако он скоро сказал себе: «Это он по злобе на Жемчужину говорил так, за те оскорбления, которые она ему наносила!» И опять страсть, которою он пылал к молодой жене, и сребролюбие опять все затмили в уме его, и опять стал он только думать о том же и мучиться тем же, – как бы денег поменьше тратить и как бы жену утешить сообразно с ее желаниями удивительными и неистощимыми. Он придумал наконец и успокоился. «Одну только правду сказал юродивый, что я дитя души Христо и Христины, и надо им немного послать».

Послал он тотчас же двух гонцов: одного к тому художнику, опять его звать, предлагая ему несметные богатства на окончание здания, а другого к Христо и Христине с небольшою помощью (потому небольшою, чтоб они вдруг на его деньги большого жилья не построили и не иссяк бы его кошелек).

После этого Петро пошел к жене, желая с ней примириться.

Царевна между тем встала поутру разгневанная и печальная, оделась, разделась снова и легла как больная на ложе; не принимала пищи и, отвернувшись лицом к стене, не отвечала ни слова своим прислужницам на их вопросы и утешения и наконец, прогнав их всех, осталась одна и плакала молча.

Так застал ее Петро, сострадание и любовь наполнили его сердце, и он заговорил с ней смиренно и ласково:

– Милая моя Жемчужина и сладкая ты радость моей жизни многотрудной, порадуй и утешь своего мужа... или лучше я скажу – раба и слугу твоей красоты. Встань ты с ложа этого и развеселись. Не могу я видеть, что ты нездорова. Никогда я не видал еще, что ты как сиротка несчастная так лежишь одна. Разрывается душа моя при этом виде. И что я такое и что ты! Правду ты сказала, что я простой человек и грубый! Конечно, мне все кажется хорошо, потому что я угольщик и пастух овечий, а тебе надо все самое хорошее. Поэтому, если раскаяние мое и старание могут

поднять тебя с этого ложа, вот я, муж твой и твоя глава по закону Господню, говорю тебе: прости мне. И за мастером этим я уже послал гонца. Он приедет скоро и начнет дворец не спеша нам строить, весь по вкусу твоему и желанию.

Тогда царица Жемчужина встала с ложа своего и сказала ему тоже покорно:

– Не тебе, мужу, у жены своей прощенья просить. Я безумна, а ты во всем прав, и отныне пусть во всем будет воля твоя.

И они примирились.

Скоро возвратился тот гонец, который к Христу и Христине ездил, и донес Петру, что деньги небольшие он им отдал, и они были в великой радости, потому что крыша у них падать стала и снегу была полная горница; кроме того, у Христины язвы на ногах открылись, лечить ее было не на что, и угольев даже им добрые соседи давно понемногу давали. Когда же спросили они у гонца: «Где же возлюбленный Петро наш и когда он к нам будет?», то гонец, как и первый раз, отвечал им: «Я не знаю, где он живет. Я его на пути случайно встретил, и он просил меня вам это отдать»;

у него работа очень трудная». Христо ничего не сказал, а Христина воскликнула:

– Что это он все тебя на пути встречает! И никто не знает, где он! – и больше ничего.

Потом возвратился и другой гонец, от художника, и сказал Петро так: этот знаменитый зодчий очень прогневан и говорит: «Не нужно мне богатств несметных его. У меня и здесь есть чем прожить. Меня настоящие цари и вельможи родовитые уважают за мое великое искусство. А он, бедный, все по-сельски судит, и меня стращать стал, и обращался со мной, как будто я кузнец или плотник». И не поехал.

Ни тот, ни другой ответ не был для Петро сладок, и больше всего стал он бояться, чтобы жена опять с горя не заболела. Тогда придумал он ей солгать и сказал:

– Этот зодчий сейчас быть не может, но он начнет все запасы готовить, и план чертить, и работников созывать, и когда все изготовит, придет. А пока ты бы хоть что-нибудь поменьше придумала, чтобы тебе не скучать.

Царевна в тайне души своей недовольна была тем, что зодчий не сейчас будет. Она по-

шла опять к своей кормилице, рассказала ей все и спросила:

– Не знаю, что бы теперь придумать, по его собственному желанию?

Кормилица ей отвечала на это:

– Придумай что-нибудь потруднее. А про зодчего не верь. Он хитрейший из хитрейших, твой домоправитель купеческий, и к зодчему он, верно, не посылал. Это все ложь.

Царевна сказала:

– Посмотрим! – А сама стала придумывать, что бы сделать, и наконец сказала мужу:

– Петро, моя радость, вот что сделай: эти две реки текут по долине врозь; а ты их соедини, чтобы воды вместе смешались; я буду в каике ездить из одной в другую и буду думать о том, как и наши с тобой сердца согласны во всем и все у нас вместе, как в этих слившихся реках.

– Хорошо, – отвечал Петро; пошел в тот подвал, куда ему всегда бочки пустые приносили, и он, запираясь, со тщанием насыпал сколько нужно из пустого кошелька своего. Насыпал и, позвав людей, приказал собрать сколько можно больше народа, чтобы в три

дня все было кончено.

На этом месте, где должны были рыть новое русло, жили в домах своих многие жители; они все тотчас же повиновались и оставляли жилища свои; Петро щедро одарил их золотом из своих неистощимых бочек.

Одна только бедная женщина, у которой был тут небольшой домик, не хотела уйти и не брала никакой платы. Она говорила так:

– Обидеть бедную женщину легко; а золото мне не нужно. Что я с ним буду делать? Здесь в винограднике моем погребены кости моего отца и матери моей, и муж мой тоже два года погребен здесь, и переносить его кости прежде трех лет нельзя; у нас это не обычай.

Петро уговаривал ее долго, угрожал и просил; но она не соглашалась, и работы остановились. Кормилица в это время говорила царевне:

– Великую любовь имеет к тебе твой пономарь! Этой злой женщине надо бы тотчас дать палок сто, потому что ей следует с радостью думать о твоём царском удовольствии...

Царевна передала это мужу, и Петро притворился, что ему понравилось это. Он ска-

зал:

– Да, это очень умный человек придумал. Я бы желал знать его имя.

Царевна обрадовалась и не скрыла от него, что это кормилица ее научила.

– Умная женщина твоя кормилица! – сказал Петро. И, послав людей за тою женщиной, которая земли своей уступить не хотела, Петро приказал призвать и кормилицу, и при той вдове велел кормилице дать сто палок, и, смеясь, утешал ее, говоря:

– Попробуй и ты на себе, что другому невинному человеку хотела сделать! Сладко ли?

Потом, обратясь ко вдове, которая была очень испугана этим зрелищем, сказал:

– А ты, бедная моя, подумай, что я мог бы тебе сделать то, что я сделал твоей злодейке этой, и вразумись, и возьми с меня за перенос костей родителей и мужа твоего сколько хочешь денег на постройку пышного храма над этими гробницами в новом месте. Я, царский зять, прошу тебя и низко тебе кланяюсь, ибо мне очень нравится твое уважение к этим могилам.

Вдова тогда согласилась; снесли рабочие люди ее домик и кости отнесли бережно, куда она приказала, и соединение рек произошло, но только двумя днями позднее, чем обещал Петро жене своей.

Царевну Жемчужину так рассердило обращение мужа с кормилицей и то, что не в три дня новая река была готова, что она не только кататься в кайках, но и глядеть из окна на реки не хотела. Подруги и прислужницы говорили ей:

– Полюбуйся же, царевна, на новую эту речку, которую возлюбленный муж твой тебе создал. Посмотри, как тихо течет она в мраморных берегах и как прекрасно около нее цветы цветут и травы зеленеют. Соединились теперь по желанию твоему обе большие реки, и воды их текут вместе, так же согласно, как ваши супружеские сердца.

Когда ей говорили так подруги и прислужницы, царевна к окну не шла и отвечала:

– Реки слились, но наши сердца разделились.

Она не ласкала более молодого мужа и в гневе своем не почивала с ним, а уходила к

кормилице, которая после наказания проводила дни и ночи, лежа и стеная, на постели своей. Царевна оставалась у нее всю ночь и прислуживала ей сама со слезами. Открывая ей душу свою, она говорила:

– Остыло сердце мое к нему, моя кормилица! Вижу я, что не всемогущ и он с деньгами своими над всеми людьми и над всеми вещами, и вижу еще, что и я не всемогуща над его сердцем. Что мне в нем!

Тогда кормилица, поразмыслив, посоветовала ей смириться пред супругом, и быть ласковой, и привлечь его сердце ласковыми речами, так чтоб он к ней возгорелся любовью такой, какой еще не было у него, и выпытать у него тайну, откуда он берет свои несметные сокровища.

– Нет ли у него неистощимого кошелька за пазухой, или в обуви, или в поясе скрытого, – сказала кормилица, которая была очень опытна, – и если узнаешь, то укради кошелек, и скроемся вместе от его гнева в первые дни. Мы дадим о том весть отцу твоему, доброму царю Агону; он обрадуется и, узнав, что Петро лишился всей силы своей в народе, прогонит

его со стыдом и позором и разведет тебя с ним, и мы найдем юношу, не хуже его на свете, когда у нас в руках будет его золото. Государь, отец твой, с радостью все это сделает, ибо и ему наскучило быть как подручником зятя и бояться его. И еще я тебе посоветую, – продолжала кормилица, – изгони меня из дворца этого лицемерно, как будто в угоду ему, потому что он меня ненавидит; я уйду к отцу твоему, доброму царю Агону, и скроюсь у него, пока не придет час наш бежать с кошельком из города.

Царевне Жемчужине такой злой совет очень понравился, и демон лукавства вселился в сердце ее; она изгнала кормилицу и стала опускать глаза пред мужем, и вздыхать, и закрываться от него покрывалом, выглядывая только одним глазом потаенно, чтобы видеть, что он делает и как смотрит он на нее.

Когда же Петро спрашивал у ней:

– Что ты, Жемчужина, так глядишь на меня?

– Разве я могу насытиться, глядевши на тебя, – отвечала она ему.

И другой раз спрашивал:

– Что ты, Жемчужина, так глядишь на меня? Она отвечала:

– Боюсь, не сердись ли на меня ты за что-нибудь?

Но Петро сказал:

– Нет, я на тебя не могу сердиться. Я тебе всю душу мою отдаю, и ты надо мною всевластна. Я вижу, что и ты меня любишь, ты и кормилицу свою изгнала мне в угоду.

Тогда царица, выждав время, сказала ему:

– Ты говоришь, что я над тобою всевластна. Неправда это. Я тебе в угоду любимую кормилицу прогнала, которая мне как мать была; а ты до сих пор таишь от меня, откуда у тебя столько денег. Я думаю, у тебя кошелек неиссякаемый есть?

Сердце Петро не устояло против слов жены, и он, достав кошелек, раскрыл его перед нею, и тотчас же ручьем полились из него золотые на пол. А когда он подбирал их и снова влагал, они пропадали в кошельке без следа.

Царица обрадовалась, узнав, что кормилица угадала тайну мужа, и сказала:

– Теперь я вижу, что ты любишь меня.

Когда же ночью Петро беззаботно уснул,

она похитила кошелек, и вышла тихо, и прошла, переодетая, с одною верною рабыней чрез двор в малую дверцу стены, и убежала к реке. У реки ее ждала кормилица на коне, с другими еще конями и несколькими провожатыми. Они бежали тогда быстро из города, боясь, чтобы в первом гневе их не убил Петро.

XVI

Когда Петро, проснувшись, увидел, что нет около него жены, что кошелек его похищен, он в гневе хотел отыскать ее и убить...

Потом вспомнил он, что после этого и его убьют, так как уже силы прежней у него в царстве без кошелька не будет, и умрет он в гневе и грехе без всякого покаяния, не успев даже по своей вине исполнить то дело богоугодное, для которого вышел из дома Христо и Христины.

Тогда показалось ему, что он сам один всему виноват, и начал он плакать.

И еще плакал он, говоря себе: «Жемчужина! Моя Жемчужина! Ты ли это обманула меня и так наругалась надо мною!..»

Так как здесь все (думал он еще) были ему враги и самому царю Агону он не верил, то за-

мыслил он сначала ехать скорей к царю Политекну и напомнить ему о своем тайном к нему посольстве. Но Господь пожалел его, видя его горе и раскаяние, ибо его там еще скорее, чем здесь унизили или умертвили бы, и внушил ему лучшую мысль: «На людей не надеяться, а только на Бога».

Тогда, подумав это, взял он у раба самую простую одежду, надел ее, и так же, как царевна, вышел тайно из дворца, и сказал себе: «Пойду без всякой дороги в горы. Пусть Бог хранит меня, как Он хранил меня до сих пор и все прощал мне все мои грехи, которым, я вижу теперь, и счету нет!»

Он шел целый день, размышляя и сокрушаясь о своей горькой участи. Шел он, не зная сам, куда он идет. Ему было стыдно и в этом царстве остаться, и стать последним человеком после величия, в котором он жил; а домой к воспитателям своим Христо и Христине возвратиться было ему еще стыднее. «Пошел без денег и пришел назад без денег, пустой человек какой!» – скажут люди.

Уже стало темнеть, когда он почувствовал голод и жажду и стал думать о том, что в та-

ком диком месте нельзя будет и хлеба достать. И это его мучило.

Наконец подошел он к одному страшному месту; он увидал в большой горе глубокую, широкую, длинную без конца каменную расщелину. Она шла туда и сюда, зияя и чернея, и, подойдя к краю ее, Петро увидал, что под ногами его летают и кричат черные вороны и большие орлы вылетают из кустов.

Сел Петро на краю и подумал: «Не убиться ли мне теперь? Не броситься ли мне отсюда, чтобы не видеть позора и стыда моего, чтоб эти черные вороны съели глаза мои и чтоб орлы растерзали мое тело?..»

Но, вспомнив, что это грех и что епископ сказал ему: «Кто больше закона знает, с того больше и взыщется...», воздержался и положил на себя крестное знамение.

В эту самую минуту в глубине пропасти зажегся яркий огонек, и Петро, помолившись и со слезами возблагодарив Бога, стал спускаться в ту сторону, где он светился.

Долго он шел с великим трудом и опасностью, и когда спустился и подошел, то увидал, что свет выходит из малого окошечка. Около

окошечка была ветхая дверь, и он постучался в нее. Тогда окошечко отворилось, из него выглянул старец такой худой и истощенный, такой ветхий днями, что Петро почувствовал страх. Старец сказал ему: «Аминь!», и Петро, взошедши в пещеру его, поклонился ему в ноги и поцеловал его десницу.

Пещера была так мала, что Петро едва умещался в ней. Старец лежал в рубище на одной циновке у окошечка, и кроме горшка чистой ключевой воды, каштанов и сухого черного хлеба в пещере не было ничего. У окошечка на стенке на гвоздике висела лампадка и горела.

Петро увидал еще, что рубище не покрывает ног старца и что ноги его все в больших ранах, источающих смраднй гной.

Сначала он молчал долго, и старец молчал и, не глядя на него, шептал про себя молитву.

Потом Петро сказал ему:

– Старче мой!.. Я очень голоден и жажду. Позволь мне взять этот хлеб и этой ключевой воды.

Но старец отвечал ему:

– Нет, не коснешься ты ни до хлеба, ни до

воды этой, ни до каштанов, пока не исповедуешь мне пред Богом всемогущим и всеведущим, кто ты такой. Вот уже более века, как я не видал человеческого лица, и пищу эту мне носят вороны, а воду – орлы. И сколько времени я лежу на этом одре – не знаю, и сколько мне лет – не помню, и сколько гноя смрадного источили эти язвы – не измерил. Хочу я знать, кто ты? Сядь и скажи.

Петро сказал ему, что он зять доброго царя Агона, рассказал, как у него был неистощимый кошелек и как кошелек этот ukrала у него любимая жена его, царевна Жемчужина, которой он душу отдавал, потому что до брака законного, боясь греха, ни на какую девушку или замужнюю жену смотреть не хотел, и пожирало его волнение молодой крови, и не мог он иногда спать ночей от тоски.

– Хорошо, – сказал ему старец, не поднимая на него очей. – Но не родился же ты зятем царя Агона. Кто ты сам такой, расскажи...

Петро рассказал ему о Христе с Христиной, и об уходе своем, и о чорбаджи Брайко.

Старец все не поднимал на него очей, и только и видны были что белые брови его на

лице его черном от изнурения и ветхости такой, что он и сам не помнил годов своих.

Петро рассказал ему о жизни своей у попа Георгия, когда он кандильанафтом был и агу убил.

Старец опять не поднимал очей и только глубоко вздохнул, когда он кончил.

Потом Петро рассказал ему о Хаджи-Дмитрии и о грешной страсти, которую питала к нему молодая жена Хаджи-Дмитрия.

Старец отверз очи свои и с таким удивлением стал смотреть на Петро, что Петро спросил: «Что ты, старче?» Но старец только вздохнул, снова опустил голову и закрыл очи свои.

Петро продолжал говорить и объяснил ему, как он жил у епископа, и как несправедливо, по малодушию, дал обидеть его добрый епископ...

Тогда старец вдруг отверз совсем очи свои, лицо его озарилось радостным светом и стало как будто моложе, и он дрожащим голосом спросил:

– А после где ты был и кого видел?

И едва Петро успел сказать, как он встре-

тил в поле мусье Франко в большом трикантоне и узком платье, как старец прервал его слова тихим плачем умиления и, воздев руки к небу, сказал:

– О, Боже, чудный в делах Твоих Боже, при-
спел наконец час моей столь давно чаемой
кончины! И я вижу, что Ты все мне простил!

Проговорив это, старец обратился к Петро
с сиявшим радостью и тихим лицом и гово-
рил ему:

– Теперь подумай, мой сын, исповедуйся
мне, не было ли у тебя на душе какого особого
греха и злоумышления? Как употребил ты те
несметные деньги, которые получил? Постро-
ен ли тот дом и те поля куплены ли тобою, ко-
торые должны были успокоить благих воспи-
тателей твоих до кончины?

Вздыхнув и опустив очи, молодой Петро со-
знался, что он медлил сделать это, ибо знал,
что золото иссякнет в тот день и час, когда он
купит это поле и построит этот дом для Хри-
сто и для Христины. И сознавая, что грех его
велик и что сребролюбие, любоначалие и гор-
дость обуяли его с той минуты, как он услы-
шал в себе силу этого злата, Петро начал

неутешно сокрушаться перед старцем и говорил:

– Теперь я и в той жизни душу свою не спасу за это, и в этой мне от стыда скрыться некуда. Домой мне без денег лучше не возвращаться никогда, а в царстве доброго царя Агона меня теперь не примут назад... Увы мне, грешному! В какой черный день и час родился я! Видно в самом деле я в беззаконии зачат был и в грехе родила меня несчастная мать моя!..

Но старец велел ему утешиться и сказал:

– И не такие еще бывают грехи. Вот я ужаснее твоего грехи совершил. Я и отцеубийца, и кровосмеситель, и богохульник был, а и меня наконец простил Бог!

– Посмотри сюда наверх, Петро, – продолжал он, указывая ему высоко на стену около одра своего посохом. – Видишь эти знаки на стене?

– Вижу, – отвечал Петро.

– Это я, – говорил старец, – отмечал года жизни моей в этой пустыне. Сочти их.

Петро начал считать, счел гораздо более ста знаков и наскучило ему считать.

Тогда отшельник начал снова речь свою:

– Ты устал считать, я же давно уже устал их чертить. Мне было сказано, что я буду прощен и умру после того, как поживут у меня временно в учениках и послушниках безответных разные люди: угольщик и дровосек, пастырь овчий и кандильанафт церковный, и управитель купеческий, и епископский ясаки, работник самого дьявола, и один зять царский, и один полководец, и еще один человек, богатый несметными сокровищами богач. Где была надежда их увидеть здесь всех? Но я надеялся и не смел унывать. И ждал, и долгие годы отмечал, а после перестал и помнить года и вспоминал о том, что еще один год начался и один кончился только тогда, когда весенний снег с той горы, сходил водою и когда ласточки начинали вить гнезда над моими дверьми. И вот наконец пришел же ко мне ты; ты один занимался всеми теми ремеслами и ты один прошел чрез все те звания, и низшие, и высокие, о которых мне было сказано. И теперь я умру.

Кончив речь свою, отшельник благословил Петро поесть хлеба и каштанов и выпить

ключевой воды, а потом уснуть у ног его. Петро подкрепился пищей, выпил воды и уснул на холодной земле около смрадных ног болезненного старца слаще и покойнее, чем тогда, когда он спал на кисейных простынях около нежной отроковицы, супруги своей, умащенной лучшими благоуханиями.

На рассвете старец толкнул Петро костылем, который стоял около него, и воздвиг его на молитву. Долго молились они вместе, и оба были радостны и бодры.

Потом старец встал с одра своего и, опираясь на костыль, вышел из пещерки и повел Петро к двум яблоням, растущим неподалеку. Они были в цвету тогда, и старец сказал ему:

– Когда яблоки эти поспеют, тогда ты восторжествуешь над врагами твоими, и будет для тебя, юный сын мой, то время началом богобоязненного, спокойного и многолетнего живота[77] на сей земле, а для меня окаянного ударит час переселения из этой земли в лучший мир, туда, где жилище веселящихся и где все озаряет светлица самого Господа Бога и милосердного Создателя нашего. А пока ты постись со мной вместе и соблюдай все, что я

тебе прикажу.

Петро с радостью согласился, и прожили они так три летних месяца. Кроме воды, хлеба и диких каштанов никакой пищи и питья не видал Петро за все это время. Старец был суров и безжалостен к нему по внешности, соблюдая его душу и желая отогнать от него всякое искушение.

Сна было Петро всего три часа в день. На заре старец воздвигал его на долгую молитву; в полночь будил его костью на чтение псалмов; ел и пил Петро пять минут и благодарил после Бога на молитве пять часов... Старец его ко всему неприятному побуждал и за все порицал; он и бил его крепко, и каждый день Петро окапывал те две яблони и поливал их потом своим; а за ночь все опять около них высыхало, и земля становилась как камень, и старец, заметив, что Петро устал от молитвы и что его клонит сон оттого, что ночью не дали ему уснуть песнопения и псалмы, тотчас говорил ему:

– Грешник окаянный, ты спишь и дремлешь! Посмотри, засохнут яблони и не дадут плода... Вижу я, что ты, подобно мне, проле-

жишь в язвах в пустыне бесчисленные годы...

И Петро в страхе бежал и окапывал землю вокруг яблонь спасения своего, обливая их потом труда и обильною слезой молитвы.

Как ни утруждал и ни мучил его старец, он все принимал с радостью, и протекли эти три месяца испытания, как три дня тихой радости, неприметно.

Однажды увидал Петро утром, что на яблонях созрели плоды, на одной очень большие и пурпуровые, а на другой поменьше и хуже на вид. Петро известил об этом старца, и старец в первый раз с тех пор, как стал испытывать Петро, усмехнулся ласково и сказал ему:

– Иди, дитя мое милое, и сорви по одному яблоку с каждого.

Когда же Петро возвратился с яблоком, старец посадил его и сказал:

– Ешь на здоровье большое!

Петро стал есть яблоко; оно было необычайной сладости и благоухания. Наслаждался им Петро долго, ибо оно было очень велико, и жалел даже кончить его; но едва только кончил, почувствовал он выше лба своего на голове как бы небольшую тяжесть и боль и,

взявшись рукой за голову, вскрикнул: на этих местах у него выросло два небольших рога, величиною не более лесного ореха. Старец, глядя на ужас его, смеялся и говорил:

– Посмотри, еще растут!

И ощупал рукой Петро, и увидал, что рога уже выросли такие, как у диких коз бывают, и все росли и росли. Он не знал, что делать... Но старец сказал ему:

– Не бойся и скушай второе яблоко.

Начал Петро поспешно есть второе яблоко; оно, хотя было и мало, однако он не знал, как бы скорее закончить его, ибо оно было нестерпимо горько и отвратительно.

Но как только кончил он его, рожки, которые выросли, рассыпались прахом, и, ощупав голову, он не нашел на ней ничего.

Тогда старец восстал опять с болезненного одра своего и, помолившись, приказал, чтобы Петро оделся в монашеское одеяние и, набрав полную корзинку больших пурпуровых яблок, отнес бы их в город, где царствовал добрый царь Агон, и чтобы, не узанный никем, продал бы жене своей, царевне Жемчужине, этих яблок, от которых у нее вырастут рога, в

наказание за ее коварство, гордость и своеволие.

Петро собрал яблоки так, как приказывал старец, и, приняв от него благословение, в монашеской одежде пошел немедленно в город.

XVII

В городе многие люди были печальны и громко соболезновали о судьбе царского дома, который постигли новые бедствия. Петро спросил у этих людей:

– Какие же бедствия постигли нашего царя и весь его дом?

– Не знаешь ты видно, монах, ничего, – сказали ему эти люди. – Ты, может быть, и не слышал, что у нас случилось за последнее время. Был зятем и наследником у доброго царя Агона один Петро прекрасный; лучше его, кажется, не может родиться человек. Царевну нашу единственную он пленил своею красотой и смирил ее сильным духом своим. Все козни врагов своих царедворцев уничтожил; войско грозного царя Политекна победил и сына его, знаменитого воителя, унизил в единоборстве. Людей бедных обогатил у нас в городе и селах и превознес их над богатыми. Го-

род наш украшал зданиями прекрасными; ко всем был приветлив и ласков. Но поссорился он с женою своею и скрылся внезапно... куда – неизвестно; и с тех пор и царь Агон, и Жемчужина царица живут в неимоверной печали, и все радости в стране нашей прекратились. В иных местах народ волнуется; у царя Агона хотя и безмерно много денег теперь, но нет ни Петро у него, ни друга искусного и бесстрашного воеводы. Разбойники и неприятели опустошают страну и жгут селения; а селяне грозятся, что сами перейдут ко врагам, если не водворится мир и порядок. Они кричат: «Где царский зять, наш Петро прекрасный?» Царица Жемчужина без молодого мужа тоскует, и мы не можем утешить ее. Вот наши бедствия... а ты не знаешь ничего и спрашиваешь, какие у царя бедствия.

Тогда Петро сказал:

– У меня есть яблоки очень хорошие, и они могут утешить царицу; когда царица развеется, тогда и царю старому приятнее будет. Отведите меня к ней, чтоб я мог ей поднести эти яблоки.

– Попробуй, – сказали ему эти люди и пове-

ли его к тому загородному дворцу, где он сам жил еще недавно.

Ввели его в сад. И когда пошел он по узорным дорожкам, окруженным миртами, стало ему жалко жены и не хотел он давать ей этих яблок, чтобы не выросли у нее рога и не обезобразили ее красоту, которая ему была так дорога и усладительна.

Однако, помня заветы великого старца пустыни, он укрепился духом и предстал пред царевной, стараясь укрывать лицо свое черным монашеским покрывалом.

Он увидал, что царевна была очень печальна, и одежда на ней была простая и грубая. Она сидела на диване в темном углу комнаты, волосы ее были распущены, и прекрасное лицо свое она держала скрытым между коленами, обвивая их руками.

Когда Петро вошел к ней и сказал: «Здравствуй, царевна, здорова ли ты?», она, не поднимая головы, тихо и печально отвечала: «Что тебе нужно, монах? Я нездорова и здорова не буду больше. Все меня тяготит теперь, одежды богатые и украшения золотые, а больше всего тяготит меня кровь моя, обреме-

няет любовь...»

Петро сказал ей: «Скушай это яблоко, царевна, оно освежит тебя!»

Но она головы не поднимала и не хотела смотреть на него. Петро спросил у нее: «Отчего же ты, царевна, не хочешь смотреть на меня?» Царевна отвечала: «Я не хочу смотреть на тебя вот отчего. Голос твой, монах, очень приятен и похож на голос того человека, о котором я денно и ночью жалею; а взгляну я на тебя и увижу другого человека. Может быть, ты безобразен, или стар, или ходишь, как другие иноки, оборванным и смрадным... Я не хочу ни смотреть на тебя, ни яблок твоих есть. Если же тебе нужны на что-нибудь деньги, то поставь, когда тебе угодно, корзину с яблоками здесь предо мной и поди скажи кормилице моей, чтоб она велела тебе десять бочонков золота за это отдать... Только об одном я тебя прошу и умоляю, инок, скажи ты всем людям, с которыми говорить будешь, чтоб они не думали, что на золото можно все купить. Радости души на него не купить. Так им скажи!»

Петро обещал говорить так, и, взяв с нее

слово, что она скушает хоть одно яблоко, поставил пред нею корзинку, и, не сказав ни слова никому из людей о том, что царевна приказала выдать ему десять бочонков золота (потому что на это он благословенья от старца своего не имел), ушел из города и поспешно возвратился в пустыню.

Через три дня старец на рассвете, воздвигая его на молитву, сказал ему так:

– Теперь возьми, милый сын мой, горькие яблоки и ступай лечить свою неразумную супругу. Она теперь в ужасных страданиях. Мера наказания ее исполнилась. Правда, она и прежде, как ты видел, тосковала о тебе, но, желая возвратить молодого мужа, она не каялась еще искренно в похищении твоего кошелька, и властолюбие, и своеволие в сердце ее не исторглись с корнем. Теперь она совсем смирится перед тобою. Ты исповедай ее, и прости, и излечи, и, возвратив себе дар святых угодников, не вступай на прежний путь, не отдавай безумно душу юной супруге, но исполни скоро долг свой против твоих воспитателей благих Христо и Христины. Построй им спокойное жилище и поле хлебное купи. И

успокойся сам, и да будет над тобой благословение Божие и мое старческое. И еще я скажу тебе, благословенный мой Петро, когда все устроишь как следует, приди похоронить здесь грешное и пресыщенное жизнью тело мое. Ибо я тебя только и ждал, чтобы переселиться туда, где нет ни печали, ни воздыхания, и где присещает свет Господня лица.

Петро с радостью поспешил опять в город и нашел там людей уже не в печали, а в великом смятении.

Увидав его, люди стали кричать:

– Не пускайте, не пускайте его! Это монах! Царь Агон приказал всех монахов изгонять из города; это ведь монах принес царевне яблоки, от которых у нее выросли теперь такие рога, что уже во дворце начал потолок трещать и пошли рабочие люди на крышу, чтобы разбирать ее.

Но Петро невидимо для людей прошел сквозь толпу, проник во дворец свой и, вошедши в большую залу, предстал внезапно пред царевной Жемчужиной.

Он по-прежнему скрывал свое лицо монашеским покрывалом, и если бы даже он не

накрывал его, то ей трудно было бы узнать его, до того пост и бдение изнурили его.

Она же не могла теперь прятать лица своего в коленях, как в первый раз, потому что огромные рога ее проникли давно чрез расписной потолок и разломали его, и теперь рабочие крышу разбирали, чтобы дать им простор и чтобы царевна не так мучилась болью в голове.

Когда Петро поглядел на прекрасную жену свою, ему стало очень жаль ее. Слезы лились из очей ее, и она сидела молча на ложе, не смея даже пошевелиться, ибо всякое движение ее причиняло ей нестерпимые муки.

Кругом ее сидели женщины, рыдали и вздыхали. В стороне сидел сам старый царь и печально глядел в землю, не говоря ни слова.

Все удивились, увидав монаха, и царь сказал:

– Что это за человек? Не тот ли злодей, который ее погубил? Если это он, то надо сейчас же казнить его!

– Государь, – сказал Петро, – казнить меня легко. Но легко ли излечить твою дочь? Я же могу излечить ее, если вы меня с ней остави-

те наедине.

Царевна Жемчужина воскликнула тогда:

– Уйдите, уйдите, когда любите меня. Я думаю, что этот человек мне поможет.

Когда все ушли, она начала рыдать и умолять его:

– Божий человек!.. Скажи мне, тот ли ты монах, который дал мне эти вредные яблоки?

Петро отвечал:

– Да! Я тот самый; но у меня есть другие яблоки, которые исцелят тебя, если ты во всем, что ты сделала, покаешься мне.

Царевна подозвала его поближе; он сел около ложа ее и начал исповедывать ее. Она все рассказала ему, достала кошелек из-под подушки и показала ему.

Петро тогда сказал ей,

– Каешься ли ты от всего сердца?

– Что ты говоришь, старче? – отвечала она. – Как же не каяться мне?

– Так отдай мне этот кошелек! – сказал он. – Иначе я не могу исцелить тебя, и ты умрешь в этих муках!

Но царевна Жемчужина отвечала:

– Если так, пусть воля Божия будет! Но

пусть я лучше умру в этих муках, а кошелек этот не отдам никому кроме мужа моего Петро, хотя бы и исцелить меня за эту жертву кто мог! Знаешь ли ты, монах, до чего я скоро пресытилась без него этими деньгами? Ежедневно сыпала я их пред собой на ковер, и они меня не радовали. Деньги ручьем из кошелька лились, а у меня лились слезы по муже моем, и я думала: на что ж мне это золото и на что мне белое серебро, когда я его золотых кудрей не вижу и его белого лица не целую!

Тут только поверил Петро, что покаяние ее искренно, и, открыв лицо свое, сказал ей:

– Вот тебе твой Петро!..

Он взял у нее кошелек, дал ей горькое яблоко, и она, и смеясь, и плача, съела его скоро, несмотря на всю горечь его, говоря, что оно слаще меда.

И как только она проглотила последний кусочек, так огромные рога ее обратились в пепел и рассыпались, и стало видно небо сквозь большие отверстия разобранной крыши.

Царя позвали и женщин всех. Все благословляли Бога и радовались. Все примири-

лись, и кормилица упала в ноги Петро, и он ее простил.

Потом он тотчас же послал гонца за Христо и Христиной, и купил им земли, и дом начал им строить, не слишком спеша. А сам пошел с войском против неприятеля, бунтовщиков и разбойников, и тех победил, а разбойников изловил и повесил в городе.

Кончив все это, Петро сказал царю и царевне, что пора отшельника погребать теперь. Он приказал царевне разуться и нежными ногами босой идти за ним; сам пошел босой, и все люди шли босые, и духовенство пошло с кадильницами, и иконами, и книгами. Все пошли в то дикое ущелье, где спасался старец и учитель Петро. Петро шел впереди, указывая дорогу, и нес сам лопату.

Только царя Агона покоили в пути на пышных носилках; он не мог идти по стремнинам и камням. Царевна все время мучилась без обуви, и ноги ее, которые были как пух лебедя нежны и белы, все были в крови; но она радовалась этому и не кричала, а только немножко стонала и спрашивала часто у мужа: «Скоро ли дойдем?» Петро смеялся лас-

ково над ней и говорил: «Скоро!»

Под вечер дошли туда и нашли старца лежащим вне пещеры на площадке просторной. Он отошел уже к Богу, и руки его были скрещены на груди.

Петро сам вырыл могилу, и старца похоронили с великим почетом.

Пока еще дом Христо и Христины не был готов, у Петро было денег без конца. Он сделал большой запас их для государства, для церкви, для себя и для бедных; и на том месте, где скончался старец, воздвиг большую обитель иноческую с самым строгим уставом.

Потом он кончил дом для своих благодетелей. И тогда кошелек его иссяк навсегда.

С той поры они жили с царевной согласно, и она родила ему многих детей.

Царь Агон, утешенный, скоро перешел в вечность, и Петро стал вместо него царствовать и прославил царство и увеличил его.

Христо с Христиной прожили еще долго и достигли, радуясь на питомца своего, до глубокой старости.

Каждый год, в день погребения своего старца, Петро босой, и царевна босая, и все де-

ти их тоже разутые ходили на поклонение в тот тихий монастырь, который построили над его могилой...

И не одной царской семье, но и всем мирским людям была польза от того, что они там видели. Особенно пользовались люди, когда они сравнивали необычайную пышность и богатство церквей этой обители, облачение, и утварь, и красоту зданий с теснотой, мраком и сыростью монашеских келий и с пищей скудной монахов, которые жили так близко от этих несказанно пышных Божиих храмов.

«Для Бога тут все, – говорили все люди, – а для людей ничего».

И они много укреплялись этим примером в трудах и огорчениях домашней, мирской жизни своей.

Мемуары

Четыре письма с Афона

Двенадцать лет тому назад я гостил долго на Святой Горе. Все не только подвижничество, но и просто сказать – христианское для меня тогда было как будто ново; но это новое было не в самом деле чем-то новым, но непростительно и легкомысленно забытым; и вот, живя на Афоне, я постепенно опять научился всем сердцем понимать те самые мысли и слова, которые я слышал давно и знал с детства, но которых истинный смысл был мною пренебрежен и не понят. Мне хотелось по-своему писать об этих словах и мыслях, об этих названиях и чувствах. Хотелось писать на память, как вздумается. И вот я представил себе человека русского, образованного, думающего, который долго (подобно мне) жил без руководства веры... и наконец почувствовал потребность этого руководства. Обстоятельства жизни этого человека могли быть иные, чем мои, чувства – те же. Мне хо-

телось передать эти чувства, эту радость первого обращения и если не всю ту работу мысли, которая помирила во мне реалиста с христианином, то хоть часть ее...

Я желал, чтобы эти письма были легки, и доступны, и живы. Я вообразил себе, что у моего вымышленного автора этих писем осталась в России молодая подруга – жена, невеста, дочь, младшая любимая сестра – это все равно... что, покинув ее для Бога (навсегда ли, если он должен стать монахом, на время ли только, – если он должен вернуться «в мир») – он хочет передать ей свои мысли; обратить и ее на свой путь для того ли, чтобы необходимая разлука и разрыв стали бы ей легче, или для того, чтобы духовная борьба и христианское сожитительство впоследствии были бы им приятнее при полном единомыслии. Поэтому я и выбрал форму изложения самую свободную, почти беспорядочную, я предпочел писать – что писалось и как думалось... без системы и очереди.

Долго лежали у меня эти письма – я находил их незрелыми и не стоящими внимания; я думал, что они ценны только для меня; но

недавно мне случилось прочесть эти избранные четыре письма в довольно многочисленном обществе молодых людей. Я увидел гораздо больше сочувствия, чем, признаюсь, мог ожидать от «современных» юношей.

Эта случайность навела меня на мысль – напечатать эти отрывки. Вреда от них, вероятно, никому не будет; а если будет хоть малая доля душевной пользы – то вот больше ничего и не нужно!

Письмо 1-е
1 июня 1872 г. Св. Гора

Вот уже более полугода, как я живу на Афоне или скитаюсь по его окрестностям; но самое даже краткое пребывание за чертой его для меня тяжело.

Я многому научился и многое забыл. Я понял вещи, которые прежде мне были странны и чужды, и дивлюсь теперь, как могли они быть мне чужды.

Я многое видел и многое прочел. На столе моем рядом лежат Прудон[78] и Пророк Давид, Байрон и Златоуст[79]; Иоанн Дамаскин [80] и Гете; Хомяков[81] и Герцен. Здесь я покойнее, чем был в миру: здесь я и мир люблю,

как далекую и безвредную картину... Я с удовольствием думаю иногда о жизни больших городов, о далекой родине нашей, о прежних друзьях, об умерших и близких нам людях... Афон и от политических вопросов не отдаляет вполне человека, если он хочет сам за нами следить; конечно, гораздо менее чем жизнь иных округов в России. Здесь ежедневно слышишь новости о Болгарском вопросе; о переменах министерств в Царьграде; есть оттенки и на самом Афоне; газеты приносят европейские известия; беспрестанно приезжают из России поклонники[82] и слышишь их суждения о наших внутренних делах... А между тем все тихо; жизнь течет правильно, без суеты и грома. Застоя нет; жизнь не засыпает, и труд виден везде. В лесах встречаются тебе пешеходы, монахи, рабочие болгаре или греки; бородатые поклонники русские; кавасы[83] монастырские в фустанелле[84] воинственной и с ружьем; встречаются мулы, навьюченные камнями, досками или чем-нибудь иным. Дороги чинят; над ручьями и пропастями поделаны прочные мостики; беспрестанно попадаются кресты на поворотах и

границах; фонтаны для проходящих и на них надписи благочестия; иногда в глуши леса видишь около дороги небольшую икону, вставленную в кору платана или дуба. На далекие расстояния проведена с гор хорошая вода по простым деревянным желобкам... Путник идет, и вода то бежит рядом с ним по земле, то журчит и каплет сверху, когда желобок поднят на столбах и перекинут над дорогой... Везде из зелени кустарников и леса видны белые домики; это пустынные келий[85], целые хозяйственные жилища с домовыми церквами, и хижины, пустыньки без церквей. Там и сям воздвигаются новые постройки; строятся новые храмы, новые скиты и новые келий. Слышишь много жизни, но не видишь грома и суеты. Все здесь растет как-то незримо и без того шума неосмысленного и холодного, который так нестерпим иногда и в небольших городах, если только они увлеклись промышленным потоком...

Я многому здесь научился и многое узнал; впрочем, многого я и не видел; иные, приезжая на Афон, ищут с особенной любовью древностей; но я еще ни в одну монастыр-

скую библиотеку не входил; рукописей древних не смотрел и смотреть не буду. Я верю на слово, что это все поучительно и драгоценно.

Легкая или тяжелая постройка собора; изящество купола; выбор цветов для окраски стен церковных и крыш, конечно, занимают меня гораздо более. Любопытно сравнивать древневизантийские здания с новыми постройками, или древнюю иконопись с нашей нынешней русской, или даже замечать разницу в убранстве монастырских приемных у греков и русских. Можно легко убедиться, наблюдая все это, как почти все, что касается до внутреннего убранства храмов: иконопись, иконостасы, облачения у русских – лучше, чем у греков, как-то изящнее, живее, так сказать, и благолепнее. Пение наше церковное с греческим, ты сама знаешь, и сравнить нельзя! Зато у греков и болгар постройки лучше, больше вкуса, больше прочности, больше фантазии восточной и архитектурной поэзии; наши, к несчастью, слишком склонны, следуя полунемецкой казенщине нашей, к казарменным линиям, к белым штукатуренным прямым стенам, к зеленым крышам и купо-

лам, тогда как зеленый цвет и для виду на естественной зелени самый невыгодный и неприятный, и уже слишком напоминает загородный дом разжившегося русского немца. Вообще на русских постройках заметны слишком следы наших казенных архитекторов, воздвигавших по всем уездам и губерниям станции желтые, казармы белые, церкви белые с зеленым...

В греческих и болгарских комнатах и приемных также больше восточного простора и величавой турецкой простоты: ковер, диван вокруг стены, камин хороший в средней стене или даже русская печка; в иных приемных – колонки, разделяющие комнату надвое, на возвышенную половину, на ту, где почетный диван, и на небольшое преддверие. На русских гостиницах для приезжающих очень тепло и во многом удобно; но русские уж слишком падки до плохой европейской мебели, до маленьких, неудобных диванчиков с разными зигзагами, до множества стульев, которые гораздо более были бы на месте в пещерах аскетов, чем в комнатах, которые назначены для успокоения и приема гостей.

Большая также страсть к маленьким картинкам и множеству мелких фотографий по стенам; к вязанным аjour[86] скатертям и к женским печатным дешевым платкам, которые служат здесь вместо столовых покрышек... Одним словом, в приемной греческой или болгарской как будто видишь перед собой почтенного турка в чалме и широкой одежде, курящего чубук; а в русских гостиницах скорее вспомнишь своего знакомого Карла Ивановича, которому Марья Ивановна готовит к именинам вязаный или вышитый по канве сюрприз.

Разумеется, изящество и хорошая, а не ложная простота в этом случае на стороне восточных жителей. Впрочем, относительно построек надо сказать в оправдание русских монахов две очень важные вещи. Конечно, я того мнения, что комната, жилище самого монаха, должна быть сурова, проста, пуста, даже тесна... Но весь монастырь, если он имеет средства, его храмы, все здания его должны быть красивы, изящны и величественны. У греков и болгар обитатели давние, построенные еще по хорошим образцам и под влиянием

более свободного полета идеальной мысли, чем нынешний ее полет, подстреленный утилитаризмом. Но наши монахи принесли сюда из России в воспоминаниях какие образцы?.. Можно ли их винить за недостаток вкуса, когда едва-едва с половины прошлого царствования высший круг наш, люди власти, и сами художники наши обратили более серьезное внимание на византийский стиль?.. После голландских скромных вкусов Петра Великого мы пережили Renaissance[87] Казанского собора и гроссо[88], и только очень недавно стало заметно более самобытное движение архитектурной мысли.

Иные люди находят, что попытки эти новые все еще довольно слабы, что Исаакиевский собор представляет собой нечто вроде верха св. Петра римского на корпусе какого-то английского банка; что милая, теплая, пестрая часовня, построенная на Невском проспекте, не легка, вдавлена в землю, что новая Греческая церковь на Лиговке тоже имеет свои недостатки...

Я не архитектор и не археолог; я в этом деле только один голос из толпы, но имею глаза

и чувства. Я кой-что знаю и очень многого не знаю. Помню многие названия без смысла и знаю нередко мысль, но не умею ее назвать как следует. Но я, мне кажется, все понимаю, когда со мной говорят художники и археологи. Я хочу только сказать одно: что нынешнее направление архитектуры русской лучше, плодотворнее прежнего. Есть стремление к личному творчеству в пределах обычая или устава; а это, мне кажется, и есть существенное условие своего стиля.

Чтобы яснее представить это направление, лучше всего сравнить Зимний дворец с Новым Московским в Кремле; или вспомнить, как недавно у нас стали возможны такие дома, как дом Иерусалимского Подворья в Петербурге, около дома Белосельской. Итак, если наше высшее общество, наше государство, наш Двор, наша художественная интеллигенция, наша Академия только что вышли на лучший путь, то какое же право имеем мы строго судить вкус наших афонцев, которых вожди пришли сюда в 30-х и 40-х годах и дали что могли...

Другое оправдание для них вот какое.

Старые здания у греков и болгар – старые; они оригинальны. А новые, например, в Зографе болгарском и в Ватопеде греческом, положим, прекрасны; они построены из хорошего тесаного камня, не спеша, со вкусом, с простором, с прочностью... Особенно зографские новые постройки великолепны, царственны!.. Но обе эти обители имели издавна большие имения в Бессарабии с определенными и верными доходами. Братия у них сравнительно не очень многочисленна. А русские монахи все почти теснятся в двух больших киновиях: в Руссике и в Серае, или Андреевском скиту. Вообще на Св. Горе русских немного; на семь или восемь тысяч монахов наших, кажется, тысяча с небольшим; иные говорят, что и того не будет! Греки и болгаре, хотя и в большем числе, но рассеяны по 19 монастырям, по нескольким зависимым скитам и по множеству пустынных келий, хижин, шалашей, пещер; русских же в Руссике около 400 (не считая постоянных поклонников, которых надобно поместить), а в Андреевском скиту больше 200. Имений больших нет ни у Руссика, ни у Андреевского скита.

Устроились они очень недавно все на добровольные подаяния из России. Скит воздвигся необычайно быстро и вырос в целую обитель из одного патриаршего дома. В Руссике наши монахи, приглашенные греками, нашли почти одни развалины и бедность. Теперь это самый многолюдный и оживленный монастырь. И монастырь этот, и скит св. Андрея и теперь все еще строятся, и все еще в них тесно.

Понятно после этого, почему в постройках русских видна спешность, потребность дешевизны и первых удобств; узкие темные коридоры вместо широких и открытых зографских галерей; кирпич и штукатурка белая, или сероватая, или желтая вместо прекрасного тесаного камня Зографа и Ватопеда; простые четырехугольные окна на казарменных стенах вместо окон изящных, окруженных и широкими, иногда двойными с колонкой посередине, которыми любишь в греко-болгарских обителях. У русских обыкновенно приземистые трубы на крышах, в них и видишь только скучные обыкновенные трубы, видишь пользу, теплоту печей... Тогда как, подъезжая к Ва-

топеду, дивишься на целый лес мелких, круглых и высоких колонок с красными капителями наверху, покрывающих крыши солидных корпусов. Что такое это? Это тоже трубы, но трубы неспешные; это трубы художественные...

Да! Если рассматривать дело только с точки зрения результата и красоты, русские обители не очень хороши. Но если знать и помнить все трудности, с которыми русские монахи боролись, всю вынужденную обстоятельствами спешность созидания, быстрый рост их обителей; бесчисленные и сложные заботы, которые обременяли их духовных вождей на чужой стороне: неопределенность доходов, долги, требования некоторого рода дипломатии при всем этом, то критическая строгость умолкает и остается одно чувство – уважение к их практическому уму и нравственной силе.

Скажу еще вот что: и в Руссике, и в Андреевском скиту прежде всего позаботились о красоте и богатстве храмов, а потом об удобствах для посетителей и о помещении для братии. В обеих обителях иноки, видимо, счи-

тали долгом деньги благотворителей употребить прежде всего на украшение церкви своих.

Так понимают афонские монахи свой долг! Чтобы яснее видеть, что такое честное монашество, стоит только из церкви, где блистает золото, серебро, хрусталь, дорогие иконы, облачения дорогие, – пойти в тесную, душную комнату монаха или спуститься в трапезу, где братия ест «травку и травку», как писал г. Благовещенский в своей книге об «Афоне».

Письмо 2-е
24 июня 1872 г.

Монашеские характеры, я, кажется, писал тебе, на Афоне очень разнообразны. Правила и образ жизни, уставы, степени отречения, подчинения и свободы также очень различны.

Как ни грустно мне, как ни занят я сам собою и тысячей вопросов, которые теперь для меня вопросы жизни и смерти, я не могу не видеть того, что меня окружает здесь.

Самые эти вопросы, которые я беспрестанно должен задавать себе, вынуждают меня иногда быть внимательным к тому, что про-

исходит вокруг меня.

Я хочу поучаться примером других и испытывать себя путем сравнения.

Я не стану говорить тебе, сколько здесь монастырей, скитов, монахов. Ты все это найдешь, если захочешь, подробно изложенным в других книгах и статьях... Отыщи их, если тебя это занимает. Можешь прочесть, например, небольшую статью «Панславизм на Афоне» в «Русском вестнике» за этот год. Там это все есть.

Святогорец говорит, что на Афоне монаху предстоит по крайней мере до восьми различных образов жизни. Я нахожу, что их гораздо больше, если считать уклонения и оттенки.

Но пусть будет 8. Я перечту на память:

1. Киновии; общежительные монастыри, где все общее, где все равны. Большая строгость.

2. Идиоритмы, монастыри своеобразные; не строгие; где не все общее и где каждый имеет значительную долю свободы.

3. Отдельные келий (дома с домовыми церквами) вне монастырей. Жизнь вдвоем, втроем и т. д. без определенного устава.

4. Каливы – пустынные хижины без домовых церквей.

5. Жизнь в скитах русских; наподобие общежительных монастырей; в общих «корпусах» зданий.

6. Жизнь в скитах греческих; наподобие села, состоящего из отдельных домов или келий; устав строгий, но образ жизни, походящий с некоторых сторон на идиоритмы.

7. Отдельные монашеские квартиры на Карее, афонском городке.

8. Пещеры в лесах, по берегу моря, в безлесных скалах; просто под камнями, под открытым небом.

Поговорим о самой главной форме святогорской жизни – форме киновиальной.

В киновиях все более или менее равны, все подчинены одинаково и безусловно избранному обществом игумену и помощникам его, главным духовникам. Собственности не сохраняет при себе никто. Все отдается в общую кассу; но в случае неудовольствия и твердой решимости оставить монастырь хорошее монастырское начальство выдает обратно непокорному сыну внесенный им вклад.

Киновии могут служить прекрасным предметом изучения для самих коммунистов. Изучая киновии, можно допустить, что коммунизм, не как всеобщий закон, а как частное проявление общественной жизни, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха. Эта дисциплина, этот страх не материальной природы; это несокрушимая идеальная узда веры, любви и почтения. В страхе христианском если и есть эгоизм, то есть забота о загробном спасении души при разочаровании во всем земном и непрочном, то называть этого рода заботу эгоизмом (как выдумали многие и не из крайних просветителей нынешнего человечества) было бы уже слишком недобросовестной натяжкой! Положим, думать о загробном спасении – эгоизм; но благодаря этому воздушному, туманному, отдаленному и неосязательному эгоизму от скольких движений эгоизма грубого, земного, ежедневного освобождается хороший христианин! Какое высокое забвение личного своенравия! Какая покорность идее! Солдат, и не слишком плохой, быть может, и патриот, в иную минуту

не бежит из полка от материального страха, от боязни, что его расстреляют, прогонят сквозь строй или сошлют на каторгу. Монах-киновиат в самую тяжкую минуту (а как часты эти тяжкие минуты в многолюдной и трудовой общине!) не бежит из обители от одной идеальной боязни греха, то есть от страха оскорбить и прогневать Божество, Которое его создало и дало ему разум и волю для внутренней борьбы против злого начала, присутствующего мирозданию.

Уничтожь в себе волю! Тебе не хочется сегодня молиться? Молитвы тебе кажутся сухими; они ничего не говорят твоему воображению и сердцу. «Молись! – говорит духовник. – Поверь мне, сын мой, что начнешь ты с досадой и тоской, а встретишь потом одно или два слова в этих заказных молитвах, от которых вдруг раскроется душа твоя в радости, и ты будешь утешен и награжден тут же за твое усилие». И это правда. Я это сам испытал...

Уничтожь в себе волю! Ты хочешь спать? Звонят к заутрене в полночь. Ты хочешь есть? Потерпи. Ты хочешь разговаривать вечером с другом, особенно если ты молод? Старый ба-

тюшка, старший духовник, обходит коридоры и стучит в вашу дверь, предлагая разойтись и не договариваться по неопытности до предметов, которые могут после смутить вас и быть вам вредны. Хочешь ты прочесть новую книгу? Без благословенья нельзя. Сижу я теперь, перед вечерней, в моей келье; минута свободная нашлась. Я видел у приезжего мирянина, кажется, хорошую книгу на столе; духовную, вероятно, книгу, писанную светским человеком: «Сущность христианства». Отчего бы не прочесть ее? Но духовник, измученный недугами и бдением ночным, лег отдохнуть. Старец мой (особый наставник иноческой жизни, которому я поручен) занят теперь делом. Я не смею прочесть эту книгу. Потом, улучив минуту, прошу благословить. «Нет благословения читать тебе эту книгу».

Я огорчен и сообщаю мимоходом свое горе другому монаху, ученому; он был в академии, и книгу эту недавно я видел в его руках.

– Ты не понесешь этой книги, – отвечает он мне, – ты еще легкомыслен.

Вот и оскорбление! Горе? Нет! Оскорблению надо радоваться; и еще больше, когда

оно незаслуженно. Чем же я легкомыслен? Не тем ли, что, покинув мать, отца, дом в дальней родине, и деньги, быть может, и молодую невесту, театры и гулянья городские?! Да! Быть может, этот монах, который меня, бедного, назвал легкомысленным, и не прав. Но я не знаю этого наверное, и потому лучше думать, что он прав; не гневаться мне на него надо, а благодарить и благословлять его. Я иду к нему и падаю ему в ноги: «Простите, отец, я осуждал вас сегодня за ваши слова о моем легкомыслии». Он отвечает мне тоже земным поклоном. Мы примирены. Я рад, я счастлив! Но надолго ли я спокоен совестью? По природе моей я или вовсе незлобив и не вспыльчив, или обладаю твердой волей, которая иногда довольно легко овладевает моими увлечениями. Такие случаи, в которых я обнаруживаю мое смирение, мою доброту и покорность, повторяются часто. Я как будто счастлив и спокоен; здоровье мое крепко и позволяет мне выносить без худых последствий долгое пение в церкви, бдения ночные во храме в обыкновенные дни по четыре часа, а под иные праздники по тринадцати ча-

сов, до самого рассвета. Силы мои, слава Богу, так свежи, привычка к телесным монашеским подвигам у меня уже так сильна, что я, простоявши всю ночь на ногах в стасидии[89], могу еще наслаждаться тем, что утренняя заря за морем занимается именно в ту минуту, когда во храме нашем возглашают: «Слава Тебе, показавшему нам свет!»

Да, я счастлив; братия хвалит мое усердие и мое незлобие; сам старый батюшка иногда улыбается милостиво, благословляя меня, когда я ему кланяюсь, и говорит: «Ну, что ж ты, ветрогон, благодушествуешь теперь, я вижу, мирствуешь, благодаря Господа?» И вот... неслышно, незаметно начинает поедать душу мою тайный червь – гордости; но какой гордости? Не мирской вашей гордости, которая кичится властью, деньгами, победами над другими людьми в спорах, в делах, в торговле, по службе государственной или в общественных успехах... Здесь идет речь не о той гордости, которая у мужчины говорит ему: «Ты молодец!» А у вас, женщин: «Ты красива, ты мила, умна, обворожительна и т. п.» или более по моде: «Ты современна, ты развита,

ты независима, не подчиняешься обществу, в котором живешь». Нет, здесь поедает душу гордость иного направления, гордость христианская, подвижническая; воображение, что я уже безукоризнен, что я почти святой!

«Вот, – говорит мне внутренний соблазнительный голос, – ты лучше других. Тот из простых мужиков, а не может стоять так долго, как ты стоишь в церкви; тот ленивее тебя; тот помнит зло; тот все хитрит... А ты? Ты незлобив, ты всем покоряешься, ты все выносишь; у тебя нет гордости, нет своеволия; ты не лукав, ты прост, как св. Павел, сподвижник Антония Великого, которого прозвали препростой. Ты вынослив на телесный труд, как Даниил Столпник, которого буря качала на столбе, а он молился, которого дождь обливал и мороз доводил до полусмерти, а он лишь благословлял Бога за все это. Ты ласков и добр с людьми, как св. Моисей Мурин (ефиоплянин); он был разбойником прежде, покаялся и подвизался в одной обители с суровым Арсением Великим, и сверх святости его строгой жизни в монастыре его все любили за ласковый и приветливый нрав. Да, св. Моисей был из раз-

бойников; он до покаяния своего был многогрешен. А я покинул юношей кров родительский и пришел сюда таким же девственником, как св. Иоасаф, юный сын царя индийского, который устоял против всей роскоши и против целого гарема молодых красавиц, окружавших его по желанию отца». «Вот сколько у меня добродетелей!» Чего же было бы лучше этого внутреннего самодовольства, мой друг? Не именно ли того ищут в миру у нас самые лучшие, умные, благородные люди?

Не имеем ли мы право уважать человека, который предпочитает внешним успехам, богатству, блеску, наслаждениям веселого разврата – свою внутреннюю гордость, свое сознательное, честное самодовольство? Ведь это почти идеал, ты скажешь мне, по нынешним понятиям. Да, я с тобой согласен, что в миру иногда нельзя и требовать большего от хорошего христианина. Когда бы было побольше и таких! Жизнь светского человека слишком шумна и заботлива; особенно нынешняя жизнь, в которой столько и развлечений, и нестерпимого, спешного труда, в кото-

рой так слабы впечатления церковные, так отстранены на второй план множеством других сложных и обременительных впечатлений; воспитание истинно христианское, осмысленное так редко! Знание истинного духа христианства ныне так мало распространено! Возможно ли при этих условиях требовать, чтобы люди, обремененные семейными, государственными, учеными и хозяйственными заботами, успевали вникать ежечасно в смысл своих внутренних чувств? Да многие ли нынче из образованных людей ясно понимают этот дух христианской Церкви?

Люди, вовсе не признающие Ренана[90] авторитетом, люди, не дерзающие и сомневающиеся в божественности Иисуса Христа; люди, которые, с другой стороны, готовы стереть с лица земли всякого, кто бы коснулся иноземной, вражеской или революционной рукой народной, русской Святыни православных храмов, мощей, икон (я говорю народной святыни – понимаешь?), – и эти люди, вследствие легкомыслия, незнания или каких-нибудь обстоятельств, воображают, что они поняли Христа, если знают твердо, что Он про-

стил блудницу, что Он оправдал грешного мытаря, что Он велел быть добрым к ближнему, благословил иноверного самарянина за его доброту и осудил еврейских – священника и левита, за то, что они не помогли израненному путнику.

И только! Доброта, прощение, милосердие... Они взяли лишь одну сторону Евангельского учения и зовут ее существенной стороной! Но аскетизм и суровость они забыли? Но на гневных и строгих Божественных словах они не останавливались? О том, что Иоанн Предтеча, у которого Спаситель крестился, был монах в высшей степени, они не знают? О сорокадневном посте Самого Христа в пустыне они не думают? О догмате греха первородного, о духе тьмы, о догмате Троицы христианской они молчат; а это все есть в Евангелии и в Апостольских письмах.

Нельзя, принимая святость Евангелия и божественность Христа, отвергать одно место в книге и выбирать по вкусу другие. Все мягкое, сладкое, приятное, облегчающее жизнь принимать, а все грозное, суровое и мучительное отвергать как несущественное. Что-

нибудь одно: или Ренан и Штраус[91] – правы, или все существенно!

Религия всепрощения; да! Но вместе с тем и религия самобичевания, покаяния, религия не только неумолимой строгости к себе, но и разумной строгости к другим.

«Иди и не греши» – сказал Христос, прощая блуднице. Он не сказал: «Иди, ты права!»

Первоначальная Православная Церковь, эта византийская, высокая культура, столь оклеветанная враждебными ей церквами и так плохо понятая теми прогрессистами, которые с половины прошедшего века поверили в осуществление реального Эдема на этой земле, – вся эта особого рода культура, весь этот особый род просвещения был лишь развитием, объяснением основного Евангельского учения, а никак не искажением его, как думают те, которым бы хотелось из христианства извлечь один лишь осязательный практический утилитаризм. Впрочем, не одни утилитаристы так думают; так думают нередко и люди религиозные.

Ты помнишь, мой друг, мою воспитательницу? Ты сама любила и уважала ее. И, ко-

нечно, она в высшей степени заслуживала этих чувств. Всю жизнь в борьбе с нуждой, вскормленная у отца в богатстве, самолюбивая, умная, высокообразованная, привычная ко вкусам и понятиям самого высшего общества времен Александра I, она должна была всю жизнь свою пересоздать, перестроить не так, как хотело ее воображение; окружающие не умели вполне ценить и понимать ее; большинство детей ее было гораздо глупее и ниже ее; они больше боялись, чем любили ее, и не постигали ее изящных и вместе с тем строгих требований. Она стала взыскательна, раздражительна, иногда несправедлива в гневе; ты это все знаешь, но ты знаешь также, какая глубина благородства, любви и какой-то мрачной доброты проявлялась в ней до последнего издыхания...

Мир ее высокой душе! Мир подай, Господи, ее страдальческому праху!

Однако... и эта просвещенная, эта необычайно умная женщина платила дань тому полулиберальному, полухристианскому веку, в котором выросла и жила.

Она, например, не любила постов и не со-

держала их, кроме дней говения, не любила монахов, не любила духовенства вообще. Говеть – она говела, как ты знаешь, и плакала даже почти всегда на исповеди у простого сельского духовника своего. Она утром и вечером понемногу молилась и, закрывая Ж. Санд или Дюма, бралась нередко за Евангелие с большой любовью. Но я замечал, что житий она не читала, хотя, конечно, с детства кой-что помнила из них. К мощам на поклонение, впрочем, она заезжала не раз в течение своей жизни, но и тут, я помню, она полушутя говорила мне: «Я гораздо больше люблю своего милого Димитрия Ростовского, чем св. Сергия Чудотворца. *C'est plus comme il faut* а Ростов [92]. Тихо так; зайдешь и помолишься. А уж Сергей такой демократ! Мужиков и нищих бездна! *Je ne puis pas souffrir tout cela*[93]; хотя я и знаю, что это грешно!..»

Милая и строгая тень моей благородной благодетельницы! Я верю в загробную жизнь; но какова она – кто знает?

На крест, на могилу; На небо и землю Творец Всемогуций Печать наложил...[94]

Видишь ли ты, как я пишу эти строки? И

если видишь, то как? Так, как мы: с участием? – с улыбкой? – с прощением? – с человеческим чувством? Или иначе – я не знаю!..

Но я прошу тебя, тень святая моей памяти, прости мне, если я скажу, что и ты платила дань веку, не понимая иногда Православия и отделяя его от какого-то особенного, простого и чистого христианства! И от тебя я слышал не раз, что учение Евангельское просто и доступно, но что духовенство исказило его, прибавив слишком много сложного.

Боже! Но мог ли краткий и простой рассказ Евангелистов, не развиваясь далее, объединить в едином учении такое множество разных народов: греков, евреев, галлов, славян, египтян, римлян и сирийцев?..

Сложность необходима для единства, по мере расширения поприща во всем. И Христу угодно было предоставить первоначальное учение Свое обыкновенным законам развития всего земного.

Именно слишком свободное понимание первоначального учения и породило столько вредных ересей, борясь против которых, Церковь развивала постепенно и естественно

трудную философию, единый, но изящный и сложный обряд; нравственность – одну по цели и духу, но разнообразную и сложную по частным, живым оттенкам... Да! Миряне, и верующие даже, нынче плохо знают свою веру. И потому, отчасти извиняя им, Церковь говорит: «Иное – мирянин, обремененный в наше время такой бездной настоятельных забот и потребностей; иное дело – монах, которому вся обстановка его должна помогать для достижения высшего христианского идеала, который выразился в словах: «Царство Мое не от мира сего».

И мирянин, который воображает, что он всегда прав, и никогда не имеет мужества или простодушия сознаться громко в своих ошибках и проступках, возмущает нас и внушает нам отвращение, помимо всякого религиозного чувства. Не раз, я думаю, и тебе случалось предпочитать человеку, который во всем себя оправдывает, такого, который говорит грубо и твердо: «Да! Я знаю, что не прав, но я так хочу и сделаю по-моему!»

Тебе, конечно, нравилась эта прямота и самобытность в зле. Но суждение это не нрав-

ственное, а эстетическое. И демон привлекателен; иначе он не был бы искушителен...

*Господень Ангел тих и ясен,
Его живит смиренья луч,
Но пышный демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч[95].*

Помню я, что Белинскому не нравился этот стих: «Его живит смиренья луч». Он, кажется, находил смысл его неясным.

Для меня (теперь) он очень ясен. Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во внутреннюю гордость, чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым; чтобы, с другой стороны, преувеличенными фразами о смирении своем и о своем ничтожестве не возбудить греховного чувства отвращения в другом, который мою неосторожную выразительность готов как раз принять за лицемерие... Эта сердечная борьба, особенно в монахе молодом, – исполнена необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии. Идеал искреннего, честного монаха – это приближительная бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к женщине, к семье, к спо-

койствию тела и даже к веселому спокойствию духа постоянному – должны быть отвергнуты. Бесстрастие – вот идеал. Истинное, глубокое, выработанное бесстрастие придает после начальной борьбы самому лицу хорошего инока особого рода выразительность и силу... «Его живит смиренья луч...»

Да! Путь и просто христианский, а тем более монашеский труден!

Раскрой книгу Иоанна Лествичника[96] о монашеской жизни. Что ты увидишь? Каждая добродетель грозит тебе грехом. Уединение в особом жилье пустынном, в лесу или в горах грозит тебе то внутренней гордостью: «Я свят», то унынием и отчаянием: «О, я погиб, я ни на что не годен; не хочу ни молитвы, ни рукоделья, ни размышлений о Божестве!» Жизнь в многолюдной обители угрожает тебе: тщеславием (посмотрите, братья, и вы, мои добрые миряне-посетители, какой я набожный, смиренный, какой я примерный инок!); завистью – при виде какого-нибудь малейшего предпочтения или внимания другому; гневом – при каких-либо столкновениях, неизбежных в тесно живущем обществе. У

свободного пустынножителя доброта душевная, желание раздавать милостыню нищим монахам или мирянам может тоже переродиться или в сребролюбие для себя, или в тщеславие и гордость вследствие лести и благодарений, которыми бедные начнут меня осыпать. Под предлогом приобретения для раздачи другим я могу начать приобретать побольше и для себя и буду радоваться, как осужденный Христом фарисей, что десятую часть раздаю нищим.

Во всем и везде нравственная опасность. «Рассудительность, – говорят опытные иноки, – располагает к жестокости – снисходительность – к греховному потворству себе и другим; недостаточные телесные подвиги, слабый пост, малая молитва, неутомительный телесный труд – дают в организмах сильных слишком много простора плотским страстям и сладострастной фантазии... И наоборот – чрезмерное утомление тела, не по силам природным, наводит духовную усталость, уныние, отвращение от начатого пути, располагает к фантазиям характера более мистического, положим, но все-таки лживым и

вредным для здорового и постепенного совершенствования в монашеской жизни». Такова постоянная внутренняя борьба, преследующая добросовестного инока иногда и до гроба.

Если ты, читая мои первые письма, подумала, что монастырь есть всегда «тихая пристань» для нашего внутреннего мира, ты ошиблась.

В монастыре или в пустыне ищут, правда, спокойствия, но какого?

Спокойствия христианской совести, сознавшей свои прежние проступки или испуганной еще при самом вступлении в жизнь водоворотом страстей, обманов, огорчений, водоворотом, который кипит и клокочет вокруг каждого человека со дня его вступления в эту горькую жизнь земную!

В обители многолюдной, но стройной, дисциплинированной разумно и добросовестно, в скиту лесном с тремя-четырьмя товарищами, в хижине – старец вдвоем с покорным послушником или молодой послушник вдвоем с любимым старцем-повелителем – везде монахи ищут забвения мира и его борьбы, его горя и его наслаждений; но лишь для того чтобы,

отдохнувши ненадолго, начать новую, иного рода внутреннюю борьбу – для того чтобы узнать новые горести крайне жгучие и новые радости, новые наслаждения, которых тебе и не понять, пока сама их не испытаешь!..

Знаешь ли ты, например, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? Знаешь ли, сколько христианской воли нужно, чтобы убить в себе другую волю, светскую волю?..

Я улыбаюсь отсюда, воображая твой гнев и твое удивление при чтении этих моих строк...

Можно идти не к лучшему, а к худшему. Человек может верить в нынешний прогресс, не сочувствуя ему; француз умный может верить, например, прогрессу своей Франции... Но куда?.. К разложению... Так верил бедный Прево-Парадоль[97], который застрелился. Он, конечно, не сочувствовал этому прогрессу Франции.

Демократизм – слово одностороннее и вы-

ражает только юридическую или политическую сторону вопроса. Равенство прав считается лишь одним из главных условий для торжества новой эвдемонической[98] религии.

То же самое и либеральность.

Коммунизм – экономическое понятие.

Коммунистами можно назвать и монахов общежительных монастырей; но они коммунисты для отречения, для аскетизма, а не для земной чувственной эвдемонии, которой аскетизм христианский есть сильнейшая антитеза.

Матерьялизм есть термин столь же односторонний, сколько и демократизм, например; последний имеет смысл только юридический, а первый – только философский. Можно быть материалистом и не верить в земное благоденствие и даже не любить его. Любопытно, что из поэтов многие были материалистами; но всеобще-сухой эвдемонии все они, видимо, терпеть не могли. Нигилизм еще хуже; во-первых, Кельсиев" еще прежде меня хорошо возражал, что это слово значит отрицание всего, а люди, которых прозвали нигилистами, имели хотя бы и ложный или

вредный идеал, но очень ясный, положительный: республика, атеизм, экономическое равенство... А во-вторых, слово «нигилизм» соединилось в наших русских привычках и представлениях, с легкой руки Тургенева, с чем-то отчаянным, свирепым, всеразрушающим, сибирским, революционным...

Но нигилистов таких бурных мало везде, а эвдемонистов множество, и очень честных, скромных, везде таящихся, пишущих, служащих, торгующих, [99] даже... даже... у нас, в России, я боюсь, в среде молодых людей, одетых в рясу иереев...

Эвдемонизм – это вера в то, что человечество должно достичь тихого, всеобщего блаженства на этой земле.

Разве только революционеры и государственные преступники верят этому идеалу? Не служат ли ему тысячи людей везде полусознательно, подкапывая наивно то один, то другой оплот, то из честолюбия личного и моды, то из вялого и незоркого добросердечия.

Прогрессист, пожалуй, в известном смысле может вовсе не быть эвдемонистом.

Например. Православный человек может

думать так: «За днем следует ночь, за ночью опять утро. Теперь вечер... Итак, если поток уже неотвратим, то пошли, Бог, чтобы скорее уже настала ночь, чтобы я видел зарю возрождения той Веры, которую я считаю истинной. Ибо, даже говоря исторически, лучше ее не было и не будет на земле... Вперед! Вперед! Слава Богу!..

Умеренные эвдемонисты ужаснулись горящего Парижа. Либерал-эвдемонист Жюль Фавр[100] послал циркуляр, повсюду привлечший внимание монархических правительств на замыслы международной ассоциации, желающей тоже общего блага, но не по-фавровски.

Ренан простирает с отчаянием руки к католическому прошедшему Франции... Тем лучше. Вперед, вперед!..»

Запомни же, прошу тебя, это имя новой веры, обещающей всебуржуазный, всестихий и всемелкий Эдем на нашей до сих пор еще, слава Богу, как будто бы капризной и причудливой земле.

Цель – всеобщая польза, понятая как всеобщее, внутреннее, субъективное довольство;

средства – у дерзких – кровь, огонь и меч, словом, новые страдания; у осторожных, лицемерных или робких – проповедь однообразного реализма, всеобщего ограниченного знания, всеобщей бездарности и прозы!

Если бы я хотел все это забыть здесь, на Афоне, то не мог бы.

Субъективный эвдемонизм есть в высшей степени антитеза христианского аскетизма, как я уже сказал.

И тот и другой имеют в виду прежде всего личность, душу человеческую (индивидуума); но один говорит: все на земле и все для земли; а другой – ничего на земле; ничего для земли. «Царство Мое не от мира сего!»

И в то же время (какая странная игра идей! Какое переkreщивание исторических законов!) – в то же время аскетизм христианский подразумевает борьбу, страдания, неравенство, то есть остается верен феноменальной философии строгого реализма; а эвдемоническая вера мечтает уничтожить боль, этот существенный атрибут всякой исторической и даже животной феноменальности... Христианство сообразнее на практике и с земной

жизнью, чем эти – холодные надежды бесполезного прогресса!

Письмо 3-е
16 июля 1872 г.

Я очень люблю отыскивать у наших светских поэтов православные христианские мотивы. Ты уже заметила, я думаю, из моих прежних писем.

У Кольцова, у Пушкина их много. Но у Лермонтова больше всех. «По небу полуночи Ангел летел» – прекрасно, но христиански не совсем правильно. В нем есть нечто еретическое; это идея о душе, приносимой извне на эту землю «печали и слез». Это теория Платона, а не христианское понятие о появлении души земного человека впервые именно на этой земле.

Зато «Молитва», «Ребенку», «Ветка Палестины», некоторые места из «Купца Калашникова», из самого «Демона» могут выдержать самую строгую православную критику и благоухающей поэзией своей могут сделать иному сердцу больше пользы (видишь, как это понимание пользы шатко: статистик твой скверный сказал бы – вреда), больше пользы,

я говорю, чем многие скучные проповеди.

Есть у Лермонтова одно стихотворение, которое ты сама, я знаю, любишь... В нем надо изменить одну лишь строку (и, мне кажется, он сам изменил бы ее со временем, если бы был жив), и тогда оно прекрасно выразит состояние моей души теперь. Без этого изменения, сознаюсь тебе, оно теперь было бы мне противно, ибо напомнило бы мне все то, о чем я так рад забыть:

*Выхожу один я на дорогу —
Сквозь туман кремнистый путь
блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Бо-
гу.
И звезда с звездою говорит.*

Да! Для меня теперь жизнь на Афоне почти такова.

В последнем письме моем я говорил о том, что и в обителях, и в пустыне человек не может достичь полного спокойствия. Борьба и горе, ошибки и раскаяние не чужды ему везде. Я говорил о той внутренней, духовной борьбе, которая есть удел каждого честного, убежденного инока.

Но ты не думай опять-таки, что монастырь есть какой-то ад. Это опять будет крайность. Не Эдем нерушимого земного спокойствия и не ад. Монастырь есть жилище человеческое, с особыми горестями и особыми наслаждениями. Человек, чтобы иметь эти особые радости, решается на особые, сопряженные с ними, горести, стеснения, падения и подвиги. Вот и все.

Мне, как непостриженному, как гостю, достался пока еще один только благой удел... Созерцание, беззаботность обо всем внешнем, о материальных нуждах, например, по временам почти полное приблизительное спокойствие...

*Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть,
Я ищу свободы и покоя,
Я б хотел забыться и заснуть.
Но не тем холодным сном могли
Я б желал навеки тут заснуть.
Чтоб в груди дрожали жизни си-
лы.
Чтоб, дыша, вздымалась тихо
грудь,*

*Чтоб всю ночь, весь день, мой
слух лелея,
«Мне про Бога» сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.*

Не думай, однако, что и вид других, вид настоящих монахов внушает скуку, тоску или какое-нибудь постоянное сожаление.

Есть минуты, в которые действительно на них тяжело смотреть. Например – великим постом; и особенно в Страстную неделю. Тогда в самом деле непривычному человеку страшно немного смотреть на эту нескончаемую службу в храмах, на эти бессонные ночи и на полное воздержание от пищи и питья в иные дни. Только певчим, для поддержания их сил, дают в такие дни по куску хлеба.

Но когда вспомнишь, что этих людей никто здесь насильно не может удержать, что у многих есть даже и хорошие средства к жизни, которые они могли бы себе вернуть из кассы без всяких юридических препятствий (о нравственных я не говорю)... тогда и эти дни слишком тяжелого, хоть самовольного подвига, производят совсем иное впечатле-

ние. Люди хотят этого сами; они рады этим тягостям, они не хотят отказаться от них...

Воля твоя! Но презренны и смешны становятся рядом с такой идеальной жизнью, с такими идеальными радостями ваши «каскадные» увеселения, ваша нынешняя, средней руки, мелкая, дряблая роскошь из картона, бронзы и папье-маше!..

Зато как все веселы на Пасхе! Впрочем, о Пасхе я уже прежде писал тебе.

В обыкновенное время многолюдная, хорошо управляемая киновия производит на посетителя успокаивающее и скорее даже веселое впечатление. В киновии унынию мало места. Взаимные примеры, обоюдное возбуждение; довольные, спокойные лица; каждый знает свое дело, у всякого свое разумно выбранное назначение. Самый вещественный из трудов облагорожен своим духовным смыслом. Дрова ли ты рубишь, или землю роешь в саду и винограднике, комнату ли ты метешь, хлебы ставишь в печь, управляешь ли ты небольшим имением монастырским, даже за чертой Афона, – и тамходишь в сделки с мирянами, продаешь и покупаешь, нанимаешь работни-

ков и рассчитываешь их; быть может, иногда даже споришь и ссоришься с ними; при всех этих трудах, вовсе не духовного свойства, тебе ежеминутно присуща мысль, что ты трудишься не для себя и не для труда самого (как советуют многие нынешние материалисты; что за скука!), но для обители, которая тебя приняла в свою среду. И если ты при этом хоть сколько-нибудь самосознателен, опытен, начитан в Писании, то тебе на ум легко при всякой работе может прийти такой ряд мыслей: «Мой простой рабочий или торговый труд нужен обители, обитель нужна Церкви, ибо монастыри суть лучшие склады преданий и обычаев церковных, они – средоточия, из которых обыкновенно исходят, по совершении общежительного испытания, и самые высшие аскеты в лесные хижины и пещеры; монастыри суть неподвижные звезды Церкви, от которых далеко льется свет на весь Православный мир. Свет этот может быть бледнее, тусклее по временам; монашество может слабеть и падать нравственно; оно может даже вырождаться и становиться грубым и порочным; но в этом виновато мирское же

общество, не отдающее в обители лучших своих представителей; виновато большинство, не выносящее даже и подобие аскетической жизни, а не сам аскетический этот идеал и те немногие, которые остались ему верными слугами!..

И вот, когда случится мирянину, погруженному в «житейские попечения» до невозможности какого бы то ни было богомыслия, увидеть перед собой в наше время высокого подвижника в пещере или лесной хижине, подвижника, которого вся жизнь, все попечения – только одно это богомыслие, как бывает поражен и тронут этот далеко удалившийся от духовного настроения человек!.. Мне скажут на это: «Да, пустынник, быть может, и полезен в этом смысле; но обыкновенный монах? Монах рабочий, хозяйственный, практический монах, хлопотун по соборам и доходам обители? В нем-то какая святость!?» Пустынник этот (повторяю я) вышел на свободное пустынножительство, послуживши смолоду покорно или другому пустыннику-старцу, или многолюдной общине. Аскет нужен как путеводная звезда, как крайнее выраже-

ние православного отречения и нам, монахам-непустынникам, и многим мирянам, которых воображение требует сильных впечатлений. Аскет нужен мирянам и Церкви; монастырь нужен аскету; он изредка придет в обитель; он причастится в ней, он побеседует с духовниками; он и сам подаст им советы, если они его спросят. Монастырь нужен и мирянину, как посредствующее звено между городской роскошью и сырой пещерой пустынника. Богатый горожанин хочет видеть пустынника. Он приехал издалека. Где он успокоится и отдохнет? Где ему будет ночлег, гостеприимство; где та беседа, которая ему нужна? Конечно, не в самой пещере или хижине аскета. Строгие, истинные аскеты (какие и теперь существуют, слава Богу) не любят посещения. Они как огня боятся репутации святости. Придите – они не прогонят вас, они будут и говорить с вами, но, конечно, не будут зазывать к себе. Зачем им посетители? Одно смущение! Денег они не берут; питаются иные от какого-нибудь рукоделья, посылая, например, послушника своего продать на базаре деревянные ложки своей скромной работы; дру-

гие и того не имеют, а ожидают, чтобы им из монастыря соседнего дали сухарей. Живут они на Афоне в таких местах, которые доступны не всякому человеку и не всякому здоровью. Вот, например, как описывает один лично знакомый мне автор, человек очень правдивый и умный, образ жизни и жилище строго афонского отшельника.

«Испытавши все степени трудов и лишений пустынной в диких местах, жизни, о. Пахомий наконец вселился в упоминаемой выше пещере, в которой никто из обыкновенных людей жить не может; так что самые строгие отшельники дивятся его необычайной решимости и самоотвержению.

Но нужно было о. Пахомию получить еще от духовника благословение на водворение в новой пещере. Желая, чтобы духовник выслушал его без предубеждения и отечески, о. Пахомий стал говорить, что, проживая временами в такой-то пещере, не ощущает никакого вреда и проч., – и убедил наконец духовника пойти с ним и посмотреть его пещеру. На месте, выслушав опять исповедные слова старца, – что он ощущает великую пользу от со-

вершенного удаления от всяких попечений и что избранная им пещера вполне соответствует его духовному настроению, – духовник соизволил его желанию и благословил водвориться ему в этой пещере, но только в виде опыта, а если не сможет жить, то переселиться вниз – ближе к морю. Много прошло времени, пока духовник окончательно благословил о. Пахомия водвориться в пещере.

В этой пещере сухо и тепло бывает только зимою, когда замедает ее всю совершенно снегом. Недавно кто-то снабдил о. Пахомия рубашкою или двумя, обувью, постилкою, подрясником и рясою; все это вместе со священными книгами, какие он имеет, бывает тогда только сухо, когда вывешивается на солнце, ибо в пещере сырость, и сырость всегдашняя. Некоторые из ревнующих подражать жизни его решались проводить у него малое время; но, как видно, не стяжали еще веры непоколебляющейся, и все, при виде холодного и сырого камня пещерного, усомневались и пострадали различно: у одного иеромонаха в одну ночь все тело покрылось волдырями, как бы кто усыпал его горохом; дру-

гой простудил половину тела с той стороны, какую лежал к стене пещеры, успокоившись после мирного ночного подвига; а некоторые пострадали расстройством желудка и теперь боятся Пахомиевой пещеры как огня.

Проводя подвижническую жизнь в таких местах, где неоткуда было достать хлеба, о. Пахомий приучил себя к такой пище, которую редко кто может кушать! И доднесь он употребляет почти одно и то же: натолчет, например, камнем гнилых каштанов, прибавит, если есть, сухарей, тоже зацветших, положит все это в воду и, заболтав мукою, иногда варит, а то и так, – и кушает себе на здоровье, прибавляя иногда дикие сухие плоды, которых никто не станет кушать и свежими, – и удивительно, остается здоровым!!!

Удивительная в нем черта всецелой преданности Промыслу Божию! Как бы в чем он ни нуждался, никому не скажет о своей нужде, оставаясь и теперь нередко без сухарей; а если сам кто вызовется что дать ему, усмотрев его крайнюю нужду, то старец примет как посылаемое ему от руки Божией. Разительнее всего преданность воле Божией как плод жи-

вой, действительной веры обнаруживалась в о. Пахомии во время болезней; тут ни лекарств, ни удобств больному никаких нет, да что говорить об удобствах, когда и воды подать некому, и неминуемо приходится умереть от одного только голоду и жажды! О. Пахомию только и зрится один Бог, Который послал ему болезнь, Который силен исцелить его или призвать его к вечной жизни; он в руках Божиих как бы весь, выражаясь в словах, часто им произносимых: «Да будет воля Твоя! Слава Тебе, Господи!» Что бы с ним ни случилось, он все примет одинаково – с благодарностью и преданностью Господу.

Родом о. Пахомий – сербин; говорит по-славянски, примешивая немного болгарских слов; беседу его понимать русскому можно. Но как сладка его беседа, выражаемая самым простым сердечным словом – это можно только испытать, а передать почти невозможно. Судя по настоящей обстановке о. Пахомия и неразвитости его в прежнее время, нужно бы заключить, что ему естественно дойти до состояния звероподобного и потерять самую способность мыслить по-человечески, но

опыт показывает другое. Господь может, видно, и без книги отверзать ум к уразумению таких тайн, кои навсегда останутся недоступны для мудрецов века сего. Да и как же иначе? Они, эти дикари, полужвери пустынные, верят от всего сердца всему сказанному Господом в Евангелии; сомневаться по-ученому они не умеют и приступают в полном смысле слова – в простоте сердца – ко Господу, сказавшему: «Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим!»

Святая улыбка всегда сияет на лице о. Пахомия, как будто всем он обилует, все ему служат, над всеми он царь! Да и в самом деле – о чем ему скорбеть и сокрушаться? Нет у него сухарей, одежды или обуви?.. Что ж? У него есть Бог, Который все это видит и как Ему угодно, так о нем и промышляет. В сем старец уверен так же, как и в том, что имя ему Пахомий. Сыро и холодно в его пещере, и нечем защитить ее по крайней мере от снега, так что все у него мокро и плесневеет?.. Зато у него есть терпение, в которое он облекся как в броню! Постигают его существенные бед-

ствия, скорби монашеские и искушения от злокозненного врага? Зато у старца столько преданности воле Божией, что хоть пусть столкнутся небо и земля и все превратится – его ничто не потрясет и не поколеблет! В самом деле, что может поколебать эту адамантову[101] душу, если он в Боге и Бог в нем?!

В апреле 1869 года мы нарочно ходили к о. Пахомию. О, как мы утомились, пока достигли его обители! Это неизобразимо! И ноги подламывались, вовсе отказываясь двигаться, и утомление было такое, что хоть ложись среди дороги! К нашему горю, или испытанию, пришедши, мы не застали о. Пахомия в нижней его пещере – он должен был находиться или в отлучке, или в верхней пещере. При взгляде на подъем туда я и другие спутники окончательно отказались взбираться туда; вызвался же сходить один пустынножитель-пещерник, бывший на этот раз нашим проводником. Как он взбирался туда – это нужно было видеть!.. Тут мы еще больше убедились в невозможности взойти туда нам, хотя бы мы вовсе были не утомлены; ибо кроме невероятной трудности подъема угрожала

еще опасность опрокинуться, скатиться вниз и жестоко разбиться. Долго мы ждали, разместясь в нижней трехэтажной пещере о. Пахомия, где горела лампадка пред иконою Божией Матери, разливая свой тихий свет на мрачные стены сырой пещеры и проливая в душу иной, тихий и сладостный, свет от Самой Благодатной Игуменнии Афона. Желая рассмотреть, далеко ли протягивается пещера о. Пахомия, мы стали взбираться по камням вверх, но свечи наши скоро потухли от густоты сперттого, сырого воздуха, и мы не могли потому дойти до конца пещеры. После долгого ожидания я стал опасаться за целостность посла и отправился посмотреть, не увижу ли кого. И что же? В это время ожидаемые нами вдвоем спускались по скале: старец был впереди и полз уже от места, где кончилась веревка, а проводник-пещерник спускался, держась еще за нее и подвигаясь к концу ее. Ужас и оцепенение овладели мною. Я смотрел на них несколько минут, и, пока они не стали уже твердою ногою на землю, у меня заболело сердце! Что если ради нас спускаясь, старец или посланный за ним поскользнутся

и разmozжат себе головы?.. Я был между каким-то неизъяснимым страхом и радостным ожиданием и упал бы в ноги старцу, прося простить, что мы его беспокоили и подвергли опасности спускаться для нас, если бы не знал, что выражением уважения и особенно-го внимания к его жизни можно оттолкнуть его от искренности и простоты обращения. Почему, сдерживая слезы радости, начал я упрекать его, предваряя свидание свое с ним и говоря: «Зачем ты, отче, забрался в такую даль? Мы так утомились, идя сюда, что сил не стало и едва добрались до тебя!» Это я говорил, пока он приближался по тропе ко мне. За плечами у него была торба; одежда на нем была хоть худенькая, но полномонашеская; под ряскою виднелась ветхая схима, на камиллавке[102] толстого сукна накинута худая наметка (креп). Постническое лицо его выражало строгость его жизни и невольно производило какое-то благоговейное впечатление. Приняв вину на себя, старец с удивительным сердоболием стал кланяться и просить прощения за утруждение нас. Говорил же это с такою убедительностью, что я уже и пожалел

о высказанных вольно словах, видя, как старец искренно испрашивал прощение, будто действительно был виновен»[103].

Вот каковы афонские пустынники, и вот как они живут!

Разве может при таких условиях всякий мирянин, поклонник проникать к таким людям?

Поклоннику нужно гостеприимство обители, нужна литургия, иконы, мощи святые, ему нужна еще прежде созерцания и оценки подвигов аскетических поэзия богослужения нашего и хоть немного философия Православия, книга хорошая, разговор неспешный и досужный с знающими людьми... Вот это все он найдет в обители.

Итак, если я служу лишь одним телесным или практическим трудом на вещественные нужды киновии, я косвенно служу всей Церкви, которая есть не что иное, как земное, реализованное в общественной жизни Слово Самого Христа. Копая виноградник, я служу Христу; управляя имением, которое дает пшеницу и хлеб насущный братии монастырской, я служу Христу; еду я через моря на ост-

рова греческие покупать масло или машину для выделки того же масла дома из наших афонских олив, – переносу я бури и непогоды, торгуюсь с купцами, знакоблюсь поневоле и дружусь с мирскими людьми, волей-неволей иногда живу их жизнью, ем иногда и сплю не по-афонски, говорю иное, чем на Афоне, вижу вещи, которые меня борят и оскорбляют... Во мне теперь как будто и следа аскетизма не осталось... Я в ужасе, я каюсь, я утомлен; но воспоминание о том, что меня послал начальник, избранный братиею, ободряет и утешает меня. Вспоминая о словах игумена и о нуждах братии, я и в шумном городе, где рядом с моей комнатой играет музыка и слышны песни и пьяные крики из дома терпимости, могу, помолясь, успокоиться мыслью, что служу обители, одной из неподвижных звезд, рассеянных по миру Православному и озаряющих его. Монах нейдет на проповедь, правда; но монастырь принимает набожных гостей, и несколько недель или месяцев жизни при хорошем благочинном монастыре поучают лучше всякой навязчивой проповеди на миру. Прекрасно ходить со све-

тильником между людьми; но хорошо организованная обитель есть уже своего рода пропаганда не словом, а делом самим. Монашество есть, положим, крайнее выражение христианства. Но сила крайности подразумевает неизбежно, органически, так сказать, и прочность чего-то среднего, однородного с ним; но не крайнего, за сим стоящего в порядке развития.

С первого взгляда кажется, например, что монашество, отрекающееся от семьи, есть логическая антитеза семьи. Однако на деле оказывается иное. Брак есть своего рода аскетизм, своего рода отречение. Строгий, религиозный, нравственный брак есть лишь смягченное монашество; иночество вдвоем или с детьми-учениками. Если отвергнуть Таинство в браке, если лишить его церковного смысла, то что можно противопоставить изящному жорж-сандизму[104], или вольным и веселым сходкам в хрустальных дворцах [105] (?) Чернышевского (?), или дружеской аристократической сделке людей хорошего общества, подобной тому соглашению, которое, говорят, существовало между знамени-

тым Меттернихом[106]и его женой? Они, говорят, согласились помогать друг другу в карьере и не мешать друг другу в сердечных делах.

С точки зрения счастья, эвдемонизма – чем они были не правы? Кому они мешали? Они были довольны друг другом, приблизительно, как только можно быть довольным на земле?

Какую логику, какую идею мы противопоставим идее эвдемонического согласия двух лиц? Долг? Какой? Против кого? Против светского общества! Что ему за дело, если мы никого не оскорбляем? «Vivons et laissons vivre» [107]. Мы добродушны, с нами весело, мы изящны даже; у нас в доме хорошо, еще приятнее от той свободы, которая в нем царствует... Не беспокойтесь, образованное общество ловких людей в этом роде не могло и не умело никогда казнить.

Лучшие поэты их воспевали, мыслители считали за честь бывать в их доме; им никто не отказывал во внешнем почете, если они умели быть полезными государству или приятными народу...

Какой еще долг? Долг относительно друг

друга? По понятиям эвдемонической, прогрессивной религии, долг состоит лишь в том, чтобы сделать избранную подругу счастливой; надо стараться, чтобы она как можно веселее и приятнее провела молодость свою.

Что еще мы можем противопоставить идеалу такого веселого сожителства или требованиям фантазии, уже слишком широко и необузданно развитой?

Чувство чести? Это чувство условно, и сколько мы видим людей высокообразованных, но христиански неразвитых, которые за косой взгляд или грубое слово вызовут на поединок друга и в наше нерыцарское время, а скажи иному из этих светских людей в минуту полной искренности о чести его жены, и он, может быть, ответит тебе: «Ах, батюшка, ну что за честь? Жена моя, к несчастью, не хороша и не ловка, на нее никто и не смотрит... Какая там честь! Что за предрассудок!.. Est-ce qu'un homme distingué peut avoir le mauvais goût d'être bourgeoisement jaloux de sa femme legitime?» [108] Это хорошо моему управляющему Карпу Федоровичу. Он ничего лучше своей Шарлотты Егоровны не видал. Так, понимает-

ся, ему и она в диво».

Еще что? Полицейские меры? Государственные? Гражданский брак? Да, если мы хотим строить общество в принципе на лицемерии, на обмане, на внешнем формальном соглашении. Но не будут ли правы коммунисты, когда скажут на это: «Хорошо и это пока; это еще шаг по нашей дороге. Святыня убита в принципе. Квартальный или мэр какой-то записывает в книгу, с какой именно женщиной вы желаете приживать таких детей, которых общество назовет «законными». Но так как везде уже права сословий более или менее сравнены и долго стоять на месте нельзя, то скоро не будет никакой особенной разницы между законным и незаконным ребенком. Гражданский брак должен будет пасть как бессмысленное, само себя пережившее учреждение...»

Octave Feuillet[109]прав в своем романе «Sybelle»[110], утверждая, что только в религии, в идеале церковном брак тверд и осмыслен... Частные, случайные ошибки и уклонения, увлечение страстью мгновенное – не разрушат ничего, если основа цела. Церковь про-

щает; и супруги могут простить друг другу... Но как? «Иди теперь и не греши!» «Боже! Прости ему или ей! Прости так, как я простил!»

Это другое дело.

Об этом я мог бы еще много, много говорить. Я воздерживаюсь, чтобы не забыть надолго Афон и монахов.

Теперь, кончая это письмо, я скажу тебе только еще раз вот что. Для семьи нужна Церковь, для Церкви Православной необходимы примеры крайнего аскетизма; для аскетизма нужны монастыри, для монастырей необходимы не только духовники, богословы, иеромонахи, служащие в церкви, певчие, поющие псалмы, – для них необходимы и экононы, практические иноки, которые заботятся о хозяйстве монастырском, о приобретении средств на убранство храмов, на воздвижение жилищ, на утварь, на пропитание самое скромное и нередко даже на угощение посетителей, из которых многие молиться желают и видеть постящихся очень рады, но сами поститься слишком серьезно не хотят.

Итак, скажи доброму семьянину, которому судьба послала дом и хороших детей, чтоб он

не оскорблялся, когда такой практический инок стучится в его дверь за подаянием. Пусть он не возмущается тем, что этот инок ему не кажется строгим аскетом. Строжайший аскет остается дома; он и не сумеет пойти на сбор; монастырь вынужден на это благословлять людей иного рода. И почему еще знает наш добрый семьянин, каков этот самый инок дома, в обители?

Какую жизнь он ведет там, возвращаясь в свою настоящую привычную среду?.. Быть может, он и аскет высокой степени?.. Но он умен, и здесь он не хочет быть педантом, боится прослыть лицемером и испортить тем отчасти дела своей обители?..

Великое дело – монастыри в Православной Церкви! Пусть в них есть свои недостатки, свои страсти и пороки...

Если войско страдает недостатками правителя и нации – ищут исправить их, а не выпускают армий.

Без монастырей, без этих скопищ, так сказать, крайнего отречения пали бы последние основы для поддержки того среднего отречения, которое необходимо для хорошей се-

МЬИ...

Сизигос (супруг – по-гречески) – значит со-
временник, сояремница, если переводить яснее
и ближе к современному языку. Вот как пони-
мала брак всегда Православная Церковь.

И не вернее ли это аскетическое понима-
ние, не ближе ли оно к действительности,
чем всякая эвдемоническая идеализация бра-
ка? Нежели все еще мечтать об игривом и ти-
хом, о нерушимом счастье и согласии, после
которых настает почти всегда разочарование
и раздор или полная, ровная проза, если нет в
углу лампы пред образом... Понимаешь?

Для некоторых, в других отношениях весь-
ма благородных натур брак сам по себе был и
будет всегда прозаичен и скучен, если рас-
сматривать его только с точки зрения насла-
ждения или полуромантического сладостра-
стия.

Ведь это истина жизни. Как ее отрицать? И
кого мы обманем, отрицая это? Напротив то-
го – поэзия брака и семьи необычайно возвы-
шенна, когда каждый шаг семейной жизни,
каждый обычай, каждая черта при воспита-
нии детей озарены идеей Православия и

украшены всеми милыми преданиями народной Святыни...

Самая непривлекательная чета, если в ней сильно чувство религиозное, в иные минуты внушает такую глубокую симпатию всякому благородному сердцу, какую не может внушить никогда «рациональный» супруг, Бог знает почему верный своей «рациональной» супруге!..

Что ж сказать? Видно, вкус такой. А мне бы давно надоело ее честное «рациональное» лицо; у всякого свой вкус... И больше ничего!..

Письмо 4-е
23 июля 1872 г.

Я замечал в тебе не раз еще давно, когда ты только что начала выходить из детства, что монахини, особенно молодые, тебе нравятся, а монахи нет. Я помню не раз, как ты сама, ничему не молясь, хвалила мне пение и службу в одном девичьем монастыре, как ты любила в него ездить, хвалила некоторых из этих «милых и бедных девушек» (так ты выражалась тогда). Я помню также, что ты очень обрадовалась тому романтическому окончанию жизни, на которое хотела было

обречь себя одна особа царской крови; мне кажется, что этот разговор был о супруге Неаполитанского короля Франциска ^{III}. Когда ты прочла случайно [111] в газете о том, что она намерена заключиться в женский католический монастырь (помнишь, мы сидели все в большей зале тогда?), ты сказала: «Как я рада, что эта королева решила быть монахиней! Уж давно что-то никто в монастырь не шел!»

О том, что Лиза Калитина[112] была всегда любимой героиней твоей, я уже упоминал, кажется, прежде...

Отчего же ты не любишь монахов?.. Отчего ты мне однажды писала так: «Если бы я могла верить, что есть на свете хоть один добросовестный, верующий, хороший православный монах, я поняла бы твое желание жить при монастыре... Но разве эти люди могут понять порядочного, развитого человека? Что они сделают из него... если он им отдаст себя в руки?»

Положим, это ты писала мне лет семь тому назад, когда раз в минуту тоски я признался тебе одной, что мне следовало бы, кажется, кончить жизнь при монастыре православ-

ном, если не монахом, то одним из тех вечных поклонников, которые доживают свой век при обителях.

Отчего эта разница?

Или ты находила (и, может быть, находишь), что религиозность женщинам идет, а мужчинам не пристала?

Одна молодая католичка, красавица, воспитанная в Сирии почти в диких горах, ибо отец ее имел за городом заведение для шелка, рассказывала мне очень простодушно, что «папа всегда смотрел строго, чтобы все дочери его были религиозны... Он говорил нам часто: «*She femme doit avoir de la religion*[113]; мужчина – дело другое!!! Он сам никогда не исповедовался и в церковь почти не ходил».

Молодая женщина эта и не думала шутить над отцом или осуждать его. В семьях тех *epiciers*[114], которые воцарились во Франции на развалинах изящного и верующего феодализма, такой порядок очень обыкновенен. Мужчина сам не верит ни во что, кроме «славы Франции, передовой нации вселенной», кроме своих прав на все выгоды, и удобства, и разумности демократии, но жену и дочерей

он посылает в храм и на исповедь. «Больше слушаться будут!»

Ты так думать не можешь, как может, в пустоте своей и слабоумии, думать отец семейства из выдохшейся современной нам французской буржуазии.

Такого порядка у нас в России нет; у нас религиозность и безверие распределены как пришлось между женщинами и мужчинами.

Эгоистических, тайных соображений у тебя при этом быть не может.

Итак, остается одно: чувство твое, чувство просто эстетическое...

Быть может, и то, что тебе случалось знать нескольких хороших монахинь; а монахов (я это знаю) ты ни хороших, ни дурных до последнего времени не встречала, разве на улице и изредка, изредка в какой-нибудь петербургской церкви, в которую ты случайно заходила иногда от скуки или из какого-нибудь любопытства.

Потом надо вспомнить, кем и чем ты была окружена с детства; ты была окружена газетами, в которых близкие тебе люди принимали участие; газетами, в которых смеялись над И.

Аксаковым[115] за то, что он позволил себе назвать «ароматом добра» то чувство, которое объединяет на мгновение душу дающего милостыню и душу принимающего; людьми, подобными тому седому родственнику твоему, который, узнавши, что я уехал жить на Афон, написал из приязни ко мне длинное письмо (помнишь, как я смеялся над этим письмом?) о том, что в наше время монахом может стать только идиот или мошенник, что умнее расходовать лишние деньги на шлейфы и шляпки молодых любовниц, чем на рясы и клобуки каких-то дураков. Что в наше время нельзя ожидать, чтобы человек, который смолоду занимался естественными, реальными науками (это все я), чтобы этот человек в здравом состоянии ума мог верить в пострижение, Православие и т. п. «При сильном воображении своем он увлекся эстетикой монашества, быть может, и раскается скоро!» – прибавил твой седой мудрец.

О, мудрец! О, мой бедный продукт журнального петербургского мира!..

В наше время!.. Что такое наше время? Его время – вовсе не мое время, быть может... Он

живет вчерашней остылой новизной, которая по закону инерции еще действует нынче и будет действовать и завтра, все расширяясь и расширяясь, но и слабея вместе с тем... А я?.. Если он, твой седой циник и любезный к дамским шлейфам утилитарист, признает во мне сильное воображение, эстетическую развитость и даже некоторую долю этих знаменитых реальных знаний, с которыми нынче все нянчатся, как дурни с писаною торбой... Если он все это придает и приписывает мне, то тем хуже для его взглядов... Разум мой, как видишь, что-то не слишком поврежден как будто бы... Мое время – не его эпоха...

У меня есть мое время, во-первых, и в настоящем, ибо «не о Петербурге едином жив будет русский человек», – но «о всяком глаголе, исходящем из истинно русского сердца»...

Я даже не хочу утверждать здесь настойчиво (именно здесь, в этом письме), что идеал эвдемонического прогресса глуп и даже ненаучен (хотя это, по-моему, доказать нетрудно). Сегодня я скажу только, что всякая философия, имеющая практические выводы для жизни, всякая цивилизация – эвдемоническая

или аскетическая, религия умеренного всеобщего, плоского эпикурейства и религия христианских свободных ограничений – одинаково имеют в числе слуг своих и мудрецов, и простых людей. Так было до сих пор. Сравни, например, Иоанна Дамаскина и Павла Простого. Оба причтены к лику Святых. Иоанн Дамаскин – аристократ, вельможа, сын правителя города Дамаска, любимец своего мусульманского государя, философ, занимавшийся метафизикой христианства, публицист православный, который боролся письмами противу византийских императоров, желавших уничтожить поклонение иконам... поэт вместе с тем, сложивший множество молитв...

Павел «Простой», напротив того, был крестьянин. Он давно хотел быть монахом, но он был женат; жена изменила ему; он обрадовался и убежал к Антонию Великому в пустыню. Антоний не знал, как бы испытать его и каким делом сначала его занять. Он велел ему плести веревки. Павел старательно свил их. Антоний велел их расплести; Павел с радостью расплел их. Антоний велел ему шить

одежду; велел распороть и снова сшить. Павел все исполнял охотно, не спрашивая даже, к чему эта бесполезная работа. Антоний не давал ему есть; он не просил. Тогда Антоний оценил и полюбил его.

Павел был крестьянин и совершенный невежда. Но разве св. Иоанн и св. Павел этот не были люди одной и той же идеи, одной и той же цивилизации? Иоанн понимал все *in extenso*, в развитии; Павел знал только, что Христос – Сын Божий, что Его распяли за нас и нам хорошо и полезно за Него распинать себя... Вот и все. А до подробностей он и доходить не хотел и соглашался свивать и развивать веревки всю жизнь свою по указанию более знающих людей!..

Таких Павлов в России еще довольно, и слегка грамотных, и вовсе безграмотных. И я не нахожу, чтоб они были невежественнее французского или итальянского работника, бунтовщика и коммуниста, который в такой же пропорции состоит к Кабе[116], Фурье[117] или Прудону по экстенсивности и логической выработанности своих мыслей, в какой Павел Простой состоял к Иоанну Дамаскину или ны-

нешний крестьянин-богомolec русский – к Филарету Московскому[118] или Хомякову.

Иоанн, Филарет, Хомяков – сознательные, философски развитые продукты византийской аскетической культуры; Павел Простой и сельский богомolec наш – наивные произведения той же аскетической цивилизации. Сильная вера сердца в два-три раз и навсегда принятых положения, в две-три идеи, нисшедшие в краткой и доступной квинтэссенции из высших сфер этой цивилизации. Вот их умственный запас.

Фурье, Прудон, Базаров[119] – сознательные, более или менее тоже философски развитые продукты не всецелой европейской цивилизации, а той последней, вчерашней, эвдемонической, утилитарной культуры, которая на всех углах кричит с XVIII века: «le bien-être, le bien-être des peuples»[120], которая в лице Ламене[121] бессовестно и подло искажает смысл Евангельского учения, уверяя простой народ каким-то лжебиблейским языком, что надо бунтовать против властей. А работник бунтующий и едва грамотный – это наивный, гадко наивный, грязно наивный, но

все-таки наивный (в смысле слабой сознательности) продукт того же вчерашнего эвдемонизма. Он знает одно: «Il n'y a ni Dieu, ni diable; tous les hommes sont égaux» или «doivent l'être...»[122]И жжет Париж с твердой верой сердца в эти две-три фразы, дошедшие постепенно до него из книг, разговоров и газет.

В России глубоко перемешаны и перепутаны теперь эти две культуры, византийская, аскетическая, и неофранцузская, эвдемоническая. Вот и все.

Живем мы, правда, все в одно время, но живем не одним и тем же...

Антиподы живут на одной и той же земле, но в одно и то же время одного из них освещает солнце, а другого – какая-то унылая, холодная луна!

Твой седой родственник живет вчерашней новизной; если он мне сам присвоил сильное воображение и эстетическое чувство, то пусть он вспомнит, что люди с сильным воображением всегда предчувствовали заранее то, к чему приходили четверть века, полвека, век спустя, толпами люди, менее их одарен-

ные фантазией.

Робеспьер[123] практической гильотиной несколько десятков лет спустя старался осуществить мечты Руссо[124] Итальянское единство, как бы оно ни оказалось бесплодно и для Италии, и для человечества, но все-таки осуществилось как факт после стольких мечтаний, после стольких предтеч, одаренных фантазией... Германия в Бисмарке[125] обрела реального истолкователя стольких прежних отвлеченностей... На худо или на добро для немцев в будущем – это иной вопрос.

Поэты социализма Сен-Симон[126] и Фурье не дожили до 48-го[127] и 71-го[128] годов.

Я верю, что в России будет пламенный поворот к Православию, прочный и надолго... Я верю этому, потому что у русских болит душа... Я верю этому потому, что нигилизм в сфере мысли уже прожит нами, и теперь вместо Базаровых, ушедших в Сибирь или в могилу, – он дает лишь не очень опасных Пыпиных[129] или глупых Скабичевских[130] каких-то, которые топорно валяют в своих критиках, что Катерина Островского[131] должна бы обучиться естественным наукам, и тогда

бы все на свете было бы хорошо...

Распространяться в низшие слои наши нигилизму было бы легко, ибо много мудрости не надо, чтобы из аскетической наивности перевести народ в эвдемоническую глупость... Но с Божьей помощью будем надеяться, что люди власти у нас не будут больше либеральничать, не будут зря спешить каким попало обучением народа из подражания соседям, которые еще не сказали последнего слова своего и у которых тоже, вопреки всей хвастливости их, есть много залогов романской анархии, особенно после объединения... Разделение Германии мешало, правда, иногда единству порядка, но оно мешало зато и единству анархии... Это надо помнить!..

И если у нас будут с Божьей помощью это помнить, то можно надеяться, что эвдемонические влияния у нас ограничатся не разгромом, а лишь частными превращениями, без которых жить в истории, конечно, нельзя...

Православие византийское, как известно, имеет в себе, между прочим, две стороны: для государственной общественности и для семейной жизни – оно есть религия дисципли-

ны. Для внутренней жизни нашего сердца – оно есть религия разочарования, религия безнадёжности на что бы то ни было земное.

От некоторых мест Чайльд Гарольда[132] можно перейти без всякого усилия и почти незаметно к иным местам Давидовых псалмов, а от псалмов Давида – ко всей христианской церковности.

Два величайших лирика всего мира могут легко примириться в больной и тоскующей русской душе. И вольно же было сухим умам мировую тоску, тоску безграничную ненасытной и широкой души сводить на мелкое гражданское недовольство современностью, вместо того чтобы разрешить ее в Боге?!

Понял ли бедный Герцен перед смертью, какой решимости у него не достало?

Хорошо и то, что он разочаровался в чисто утилитарном прогрессе и понял, что он и один он ведет или к ужасному кровавому безначалию, или к отвратительной прозе всеобщего мелкого однообразия, предлагаемого Прудоном, или... (и это всего вернее) что, давши кой-что новое миру в экономическом порядке, этот утилитаризм сопряжен разнооб-

разно с прежними историческими началами. И только! Благодеяния общего и субъективного все-таки не будет.

За эту строку об исторических началах Герцену многое прежнее и вздорное его можно искренне простить.

Нет! Православие, или, другими словами, культура византийской дисциплины и земного аскетизма, есть единственный противовес теории всеобщего, мелкого удовольствия... И лучшая пища и отрада тому, кто разочарован и для себя, и за других, и за будущее друзей и близких своих, и за будущее всего человечества, понятое в смысле всеобщей пользы.

Кто графически изобразил историю земного прогресса?

Кто скажет с реальной точностью, как вернее изобразить его: как прямую лестницу, наверху которой приготовлены всем равные или приблизительно равные награды, так что и зависть станет невозможна... Или в виде широких, все больше и больше расширяющихся кругов, неизбежно перевитых и душистыми цветами, и ядовитыми, нестерпимыми терниями?..

Сообразно с реальными фактами, с примерами самой природы, вне человека стоящей, с явлениями современной и прошедшей истории, с психологией нашей, которая требует попеременно отдыха и борьбы, которая жаждет разнообразия и перемен, – надо думать, что бесконечные круги более похожи на историю земного прогресса, чем чертеж прямого утилитарного восхождения посредством реальных наук, обращенных на службу равенству людей и братству народов; не сердечному и теплому братству внезапного, личного, живого чувства, а братству юридическому, насильственному, предупредительному и всегосударственному!

Фу! Что за скука! С какой я стати буду насильственно брат какому-нибудь немецкому или французскому демократу, которого даже портрет в иллюстрации раздражает меня?..

Если я христианин, то я заставлю замолчать эту свою художественную брезгливость... А если я не христианин? Тогда меня может заставить замолчать только один страх перед толпой людей, менее меня развитых...

Хорош же прогресс!.. Если более развитой человек должен трепетать тех, которые тупее, глупее, грубее, пошлее его...

Довольно! Довольно!!!

1884 г.

Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе

I

Однажды на Афоне я разговаривал с отцом Иеронимом о тех неожиданных внутренних переменах, которые я в себе ощущал по мере того, как вникал все больше и больше в учение Православной Церкви. Эти перемены и новые ощущения удивляли и радовали меня. Разговаривая так, я дошел до мысли, что было бы полезно поделиться когда-нибудь с другими этой историей моего «внутреннего перерождения». Отец Иероним согласился, но прибавил: «При жизни вашей печатать это не годится. Но оставить после себя рассказ о вашем обращении – это очень хорошо. Многие могут получить пользу, а вам уже тогда не

может быть от этого никакого душевреждения». Потом он, весело и добродушно улыбаясь (что с ним случалось редко), прибавил: «Вот, скажут, однако, на Афоне какие иезуиты: доктора, да еще и литератора нынешнего обратили».

Это о действительной, автобиографической моей исповеди. Но, с другой стороны, он же находил, что можно написать и роман в строго православном духе, в котором главный герой будет испытывать в существенных чертах те же самые духовные превращения, которые испытывал я. Роман такого рода он благословлял напечатать при жизни моей, потому что многое во внешних условиях жизни было бы изменено и не было бы ясно: я ли это или не я. Мысль эта пришла мне самому, а не ему, но он ее охотно одобрил, находя, что и эта форма, как весьма популярная и занимательная, может принести пользу, как своего рода проповедь.

Эти беседы мои с великим Афонским старцем происходили в 72 или в 71 году. С тех пор в течение восемнадцати лет я постоянно думал об этом художественно-православном

труде, восхищался теми богатыми сюжетами, которые создавало мое воображение, надеялся на большой успех и (не скрою) даже выгоды. Радостно мечтал о том, как могут повториться у других людей те самые глубочайшие чувства, которые волновали меня, и какая будет от этого им польза и духовная, и национальная, и эстетическая. Все это я думал в течение 18 лет; думал часто; думал страстно даже иногда; думал, не сделал. Я ли сам виноват, обстоятельства ли (по воле Божией) помешали, не знаю. Испытание ли это было или «смотрение Господне», не могу решить. Мне приятнее, конечно, думать, что это было «смотрение», двойко приятнее: во-первых, потому что это меня несколько оправдывает в моих собственных глазах («Богу не угодно было»; «обстоятельства, видимо, помешали»); приятно думать, что хоть в этом не согрешил перед Богом и перед людьми. И еще приятно не по эгоистическому только чувству, но и по той «любви» к людям, о которой я никогда не проповедовал пером, предоставляя это стольким другим, но искренним и горячим движениям которой я, кажется, никогда не был

чужд. Близкие мои знают это.

В чем же любовь? Хочется, чтоб и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного до нельзя, до утонченности, стал верующим христианином, и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно сатанинскую когда-то фантазию.

И победа духовного (мистического) рассуждения и чувства над рассуждением рациональным, к которому приучили меня и дух века, и в особенности медицинское воспитание, и мое пристрастие смолоду к естественным наукам, эта победа тоже стоит внимания.

Что может больше повлиять в этом смысле: хороший, удачный роман или откровенная, внимательно написанная автобиография?

Воображая себя на месте нетвердых в христианстве, полуверующих читателей (это, кажется, самый верный прием), думаю, что ав-

тобиография. Хороший, завлекательный роман, идеалистический, высокий по замыслу и направлению, и вместе с тем в подробностях реально написанный, может, конечно, иметь большое влияние. И тем более что у нас истинно-православных художественных произведений вовсе нет. Считать «Братьев Карамазовых» православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным Православием, с христианством св. отцов и старцев афонских и оптинских.

Но, во-первых, еще вопрос: хорошо ли я написал бы его? Хорошо ли в смысле доступности общему вкусу? Ни одна из моих повестей, ни один из моих романов не только не имели шумного успеха, но и не заслужили ни одной большой журнальной основательной критической статьи (хотя все они, эти романы и повести, были по крайней мере оригинальны, не похожи ни на Тургенева, ни на Л. Толстого, ни тем более на Достоевского). Все отзывы были краткие, как бы мимоходом; даже и самые похвальные популярности моей не увеличивали. Издавать их на свой страх никто не чувствовал особой охоты; это было так постоян-

но, что и я давно совершенно охладел к таким изданиям и мало думаю о них.

Опять скажу: я ли не умел заинтересовать большинство читателей, обстоятельства ли сложились странно и невыгодно, не знаю; но если в течение 28 лет (от 61 года, например) человек напечатал столько разнородных вещей в повествовательном роде, и иные из них были встречены совершенным молчанием, а другие заслужили похвальные, но краткие и невнимательные отзывы, то что же он должен думать? Что-нибудь одно из трех: или что он сам бездарен, что у него вовсе нет настоящего художественного дара; или что все редакторы и критики в высшей степени недобросовестные люди, что даже те почитатели и друзья его, которые на словах и в частных письмах превозносят его талант, тоже недобросовестны и нечестны или беззаботны по-русски в литературном деле; или, наконец, что есть в его судьбе нечто особое (*habent sua fata libelli*[133]).

На каком взгляде из трех христианину полезнее и правильнее остановиться в моем частном случае?

Признавать мне себя недаровитым или недостаточно даровитым, «не художником» – это было бы ложью и натяжкой. Это невозможно. Этого я никогда ни от кого не слыхал. Такого решения и смирение христианское вовсе не требует. В известные годы, созревши вполне и с огромным запасом житейского опыта, человек не может даже не сознавать (одного сравнения достаточно), что он добр, например, храбр, искусен в чем-нибудь, умен, физически силен, красив и т. д. Это все дары Божии, и как таковые все они и отъяты могут быть Богом же или, и сохраняясь даже, не принести, однако, человеку для загробной его жизни ни малейшей пользы и даже могут принести вред, если будут не по учению благодати развиты и направлены.

Не физиологическое смирение нужно, а духовное. Не нам, не нам, Господи, а имени Твоему!

Других всех, даже друзей и почитателей своих, считать людьми легкомысленными или недобросовестными, это было бы не только грешно и нечестно, но даже и глупо! Какой вздор! Я мог бы назвать здесь многих. И стои-

ло бы только назвать некоторых из них, чтобы обвинение в легкомыслии и недобросовестности оказалось невозможным. От некоторых из них я видел столько добра, что, кроме самой живой признательности к ним, ничего не чувствую. Однако и из них многие не сделали для моего имени, для успеха моих сочинений того, что они могли бы сделать.

Могли бы!.. Могли ли? Вот главный вопрос. Вот он! А если не могли?

Есть разные критерии возможности или возможного. Превосходный практический врач, например. При благоприятных условиях и с моей, и с его стороны он мог бы меня вылечить скорее и лучше всех других. Но он сам был болен и не выезжал, когда я был с ним в одном городе; он выздоровел и стал опять практиковать, а я незадолго перед тем уехал, и мы не встретились. Он бы и мог, да вот не мог же. Хотя и знал меня, и жалел, и хотел бы вылечить, но Богу не угодно было, чтобы он меня лечил. Почему же? Этого мы не знаем. Пути Господни неисповедимы.

Если бы я умер; если бы никто другой, кроме этого врача, не смог меня излечить, а ему

нельзя было ездить ко мне, тогда судьба моя была бы понятна: я должен был умереть. Но я неожиданно вылечился в другом месте и у других врачей. Для чего же мы не могли тогда видаться? И т. д. Я мог бы привести множество подобных примеров из моей литературной жизни. Многие люди могли бы сделать много для моего прославления; они, видимо, сочувствовали мне, даже восхищались; но сделали очень мало. Неужели это явная недобросовестность их, или мое недостойнство? Да! Конечно, недостойнство, но духовное, греховное, а не собственно умственное или художественное. Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его; вот как я приучил себя понимать свою судьбу. Не будь целой совокупности подавляющих обстоятельств, я, быть может, никогда бы и не обратился к Нему...

Не нужен, не «полезен» мне был при жизни такой успех, какой мог бы меня удовлетворить и насытить. Достаточно, видно, с меня было «среднего» *succes d'estime*[134], и тот пришел тогда, когда (сравнительно с прежним) я стал ко всему равнодушнее. (Полного

равнодушия не смели приписывать себе и великие аскеты; по свидетельству отца Иеронима, борьба с самолюбием даже у афонских пустынников, живущих давно в лесу или пещерах, самая упорная из всех. Деньги им уже не нужны; к молитве постоянной и телесным подвигам они себя давно приучили, чувственность слабеет с годами; но с самолюбием до гроба и этим людям приходится бороться!)

И, убедившись в том, что несправедливость людей в этом случае была только орудием Божьего гнева и Божьей милости, я давно отвык поддаваться столь естественным движениям гнева и досады на этих людей. Человек может быть прав житейски, но он духовно грешен, и Бог неправедною рукой ближнего, как будто бы с вида ни за что ни про что, наказывает и смиряет его.

Я не раз говорил с людьми духовного разума о том, обязан ли человек во всяком случае считать себя неправым, а ближнего правым? Все они отвечали согласно: «Нет, не во всяком случае неправым, но во всяком случае перед Богом чем-нибудь да грешным!» Итак, видимо, Богу было неуютно, чтобы со-

чинения мои имели успех. С какою же целью в таком случае я буду писать роман? Почему же я при таком убеждении предпочту его по-смертной автобиографии? При последнем выборе есть еще надежда на большой успех; на успех романа нет у меня надежды, как бы он ни был хорош. Но на что же мне этот по-смертный успех? Мне, человеку верующему в вечность небесного и бренность земного? Не для себя, а для других. Ни избрание сердца, ни долг справедливости не запрещены нам. (...)

Автобиографические, искренне написанные воспоминания всегда внушают больше доверия, чем роман.

Романист может иногда, не веруя сам, превосходно изобразить верования другого лица. Тургенев прекрасно изобразил чувства Лизы Калитиной (в «Дворянском гнезде»); Л. Толстой истинно и правильно – религиозное настроение княжны Марии («Война и мир»); Эмиль Золя в «Проступке аббата Муре» до того правильно и глубоко анализировал духовную борьбу молодого священника, что если устранить из этого изображения некоторые особые душевные оттенки, свойственные исключи-

тельно католичеству, то в истории этой борьбы и православный монах может при сходных условиях узнать самого себя. Творчество Золя в этом случае гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сентиментальное сочинительство Достоевского в «Братьях Карамазовых». Лично у меня нет никакого сомнения, что Достоевский в то время, когда взялся писать «Карамазовых», гораздо ближе начинал подходить по роду верований своих к церковно-православному христианству, чем Золя в то время, когда он писал свой роман. Золя настолько уже прославился, что если бы он ходил на исповедь к пастеру и причащался, то мы бы давно об этом узнали, как узнали, что материалист Поль Бер скончался покаявшимся католиком. Про Достоевского же мы знаем, что он говел и причащался; и хотя это еще не вполне доказывает, что человек действительно (наедине с самим собою и Богом) чувствовал и думал о вере совершенно правильно, однако все-таки и это имеет некоторый вес.

Я хочу этим сказать, что художественное творчество может быть обманчиво. Человек

мог верить смолоду очень живо или иметь поздние временные возвраты к Церкви, временные колебания и теплые порывы к вере отцов. Он помнит прекрасно все эти чувства свои; учение в общих его чертах он знает, он дополнил чтением то, чего он не знал или о чем забыл. Он был знаком в жизни с истинно-религиозными людьми, беседовал, спорил с ними; не забыл их доводов, их возражений. Совокупность этих впечатлений такова, что при некотором усилии творческого воображения и неверующий романист может чрезвычайно верно изобразить не только поступки или речи своего религиозного героя, но и самую сокровенную последовательность его помыслов.

Но внушает ли это ту степень фактического доверия, какую желательно бы внушить неутвержденным людям? Конечно, не внушает.

Надо, чтобы читающий верил, что я сам верю... Я пишущий; я живой, реальный, современный ему человек, человек, выросший в среде, сходной по воспитанию и впечатлениям со средою самого читающего.

Искренность личной веры чрезвычайно заразительна. Я знаю это по опыту, ибо и на меня в свое время имели другие большое влияние эту искренностью.

Многие, конечно, не допускают и мысли, чтобы образованный человек нашего времени мог так живо и так искренне верить, как верит простолюдин по невежеству. Но это большая ошибка! Образованный человек, раз только он перешел за некоторую, ему понятную, но со стороны недоступную черту и мысли, может веровать гораздо глубже и живее простого человека, верующего отчасти по привычке (за другими), отчасти потому, что его вере, его смутным религиозным идеям никакие другие идеи не помешают.

Побеждать ему нечего; умственно не с кем бороться. Ему в деле религии нужно побеждать не идеи, а только страсти, чувства, привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жадность, пьянство, распутство, лень и т. п. Образованному же (а тем более начитанному) человеку борьба предстоит гораздо более тяжелая и сложная, ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми эти-

ми перечисленными чувствами, страстями и привычками, но, сверх того, ему нужно еще и гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению Церкви; нужно и стольких великих мыслителей, ученых и поэтов, которых мнения и сочувствия ему так коротко знакомы и даже нередко близки, тоже повергнуть к стопам Спасителя, апостолов, Св. Отцов и, наконец, дойти до того, чтобы, даже и не колеблясь нимало, находить, что какой-нибудь самый ограниченный приходский священник или самый грубый монах в основе мирозерцания своего ближе к истине, чем Шопенгауэр[135], Гегель[136], Дж. Ст. Милль[137] и Прудон... Конечно, до этого дойти нелегко, но все-таки возможно при помощи Божией. Нужно только желать этого добиваться; мыслить в этом направлении, молиться о полной вере еще и тогда, когда вера не полна. (По опыту говорю, что последнее очень возможно и даже не трудно; достаточно для этого быть сначала, как многие, деистом, верить в какого-то Бога, в какую-то высшую живую Волю.) Раз это чувство есть, раз есть и в уме нашем это признание, нетрудно

хоть изредка, хоть раз в день, хоть при случае, с глубоким движением сердца воскликнуть мысленно: «Боже всесильный!»

Научи меня правой вере, лучшей вере! Ты все можешь! Я хочу веровать правильное хочу смириться перед верой отцов моих. Если она правильнее всех других, покажи мне путь; научи меня этому смирению! Подчини ей мой ум! Сделай так, чтоб этому уму легко и приятно было подчиняться учению Церкви!»

И все это понемногу придет; придет иногда незаметно и неожиданно. «Просите и дастся вам!»

Раз же мы переступим сердцем ту таинственную черту, о которой я говорил выше, то и сами познания наши начнут помогать нам в утверждении веры. Все атеисты или антитеисты нам послужат, и даже чем самобытнее мы сами, чем мы способнее скептически отнестись ко всем величайшим приобретениям науки и вообще ума человеческого, тем менее могут авторитеты этой науки и этого ума помешать нам смиряться и склоняться перед тем, перед чем мы сами хотим, не обращая даже никакого внимания ни на Руссо и Вольте-

ра[138], ни на Гегеля и Шопенгауэра, ни на Фохта[139] и Фейербаха[140]...

За эту таинственную чертой все начнет помогать вере, все пойдет во славу Божию, даже и гордость моего ума! «Что мне за дело до всех этих великих умов и открытий! Я все это давно знаю! Они меня уже ничем не удивят... Я у всех этих великих умов вижу их слабую сторону, вижу их противоречия друг другу, вижу их недостаточность. Может быть, они и умом ошиблись, не веруя в Церковь; математически не додумались... упустили из вида то и другое... И если уж нужно каждому ошибаться, то уж я лучше ошибусь умом по-своему, так, как я хочу, а не так, как они меня учат ошибаться... Буду умом моим ошибаться по-моему; так ошибаться, как мне приятно, а не так, как им угодно, всем этим европейским мыслителям!.. А мне отраднее и приятнее ошибаться вместе с апостолами, с Иоанном Златоустом, с митрополитом Филаретом, с отцом Амвросием[141], с отцом Иеронимом Афонским[142], даже с этим лукавым и пьяным попом (который вчера еще, например, раздражил меня тем-то и тем-то), чем вместе

со Львом Толстым, с Лютером[143], Гартманом[144] и Прудоном... Сами молодые философы наши, Грот[145], например, признают умственные, философские права чувства.

Вот как и гордость моего ума может привести ко смирению перед Церковью. Не верю в безошибочность моего ума, не верю в безошибочность и других, самых великих умов, не верю тем еще более в непогрешимость соборного человечества; но верить во что-нибудь всякому нужно, чтобы жить. Буду же верить в Евангелие, объясненное Церковью, а не иначе.

Боже мой, как хорошо, легко! Как все ясно! И как это ничему не мешает: ни эстетике, ни патриотизму, ни философии, ни неправильно понятой науке, ни правильной любви к человечеству.

II

Был ли я религиозен по природе моей?

Было ли воспитание мое православным?

Стараюсь как можно точнее припомнить детство свое. Вспоминаю все, что только могу вспомнить и о близких моих, и о самом себе, и говорю себе нерешительно: да и нет!

Дом наш, вообще сказать, не был особенно набожным домом. Отец мой был, кажется, равнодушен к вере; я не помню, чтоб он ездил в церковь; не помню, чтоб он говел; хотя знаю, что духовником его был не тот священник, который исповедовал мою мать, тетку, сестру и меня. У нас у всех сначала духовником был отец Лука, священник села Быкасова, а когда он скончался, то мы все стали говеть в селе Велине у отца Дмитрия, который только недавно умер почти 80 лет. Я не помню, чтоб отец говел; но, умирая, он причащался, и на похороны его приглашен был вместе с приходским (Щелкановским) духовенством священник села Чемоданова. Тогда говорили: «Надо за духовником его послать». Лет мне было тогда восемь (или девять), я ко всему этому относился очень невнимательно, потому что к самому отцу и к его смерти был совершенно равнодушен. Произвело на меня довольно сильное впечатление только то, что у чемодановского священника риза на похоронах была сшита из разных шелковых кусков, треугольников, как шьются одеяла, и еще что ни у кого я не видал так много мелких

морщинок поперек лба, как у отца Афанасия (кажется, его так звали). Отец жил давно особо, не с нами, в небольшом флигеле, бедно убранном; в нем он заболел ужасною болезнью (miserege)[146], в нем умер, в нем и лежал на столе в довольно тесной комнате. Это было зимой, и так как хоронить его желали в Мещовском монастыре, то сборы были долгие; лежал он около недели, и под столом стояли корыта со льдом. Около этого стола во время панихиды теснилось духовенство, едва помещаясь и толкая друг друга. Щелкановский дьякон, человек, которого лицо мне казалось тогда очень грубым и даже злым, как у разбойника, раза два оттолкнул очень грубо чемодановского батюшку в лоскутной ризе, и священник, обернувшись, посмотрел так грустно и жалобно, и морщинок на лбу у него сделалось так много, что мне стало его очень жалко. И родные мои говорили с сожалением: «Какие бедные облачения у чемодановского причта! Просто жалость глядеть!»

Вот все, что у меня сохранилось в памяти о похоронах отцовских. В Мещовск повезли его хоронить тетка с сестрой, я остался с матерью

дома и очень хорошо помню, что ничуть не горевал и не плакал. Относительно религии отцовской помню еще два случая. Один вовсе ничтожный, другой поважнее. Принесли к нам как-то раз летом чудотворную икону Святого Николая из села Недоходова. Мы все вышли встречать ее. Отец первый приложился, прошел под нею, согнувшись с большим трудом, так как он был очень велик и толст. Помню его пестрый архалук [147] из термаламы [148] и как развевались белые волосы его от ветерка над лысиной. Потом все стали тоже проходить под икону, и мне это очень понравилось почему-то. Не помню, проходила ли мать моя. Мне кажется, что нет: она не любила в точности исполнять обряды. Если бы она проходила, то я верно этого не забыл бы; я так ее любил и так охотно на нее любовался! (Она была несравненно изящнее отца, и для меня это по врожденному инстинкту было очень важно!) Я упомянул об этом потому, что только раз и помню отца, исполняющим обряд. Что он когда-нибудь да говел, видно из того, что у него оказался духовник в последнюю минуту. Но я не сохранил в памяти ни-

чего больше об его религиозности, может быть, и потому, что я был очень равнодушен к нему и мало им занимался. При утренней встрече поцелую руку, вечером подойду под благословение и тоже поцелую руку, и больше ничего. И он мною и моим воспитанием вовсе не занимался.

Другое обстоятельство было немного поважнее. Когда в первый раз семи лет я пошел исповедоваться в большую нашу залу к отцу Луке (Быкасовскому), и тетка мне велела у всех просить прощение, то я подошел прежде всего к отцу; он подал мне руку, поцеловал сам меня в голову и, захохотавши, сказал: «Ну, брат, берегись теперь... Поп-то в наказание за грехи верхом кругом комнаты на людях ездит!»

Кроме добродушного русского кощунства он, бедный, не нашел ничего сказать ребенку, приступавшему впервые к священному таинству!

По всему этому видно, что отец мой был из числа тех легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей (и особенно прежних дворян), которые и не отвергают ни-

чего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не умен, и не серьезен.

Совсем иного рода было влияние матери.

Про нее можно сказать так: она была религиозна, но не была достаточно православна по убеждениям своим. У нее, как у многих умных русских людей того времени, христианство принимало несколько протестантский характер. Она любила только ту сторону христианства, которая выражается в нравственности, и не любила ту, которая находит себе пищу в набожности. Она не была богомольна; постов почти вовсе не соблюдала и нас не приучала к ним, не требовала их соблюдения. Заметно было иногда, что она немножко даже и презирала слишком набожных людей. Например, она нередко с пренебрежением употребляла слова «ханжа», «ханжество» и т. д., тогда как истинно и по-православному верующий человек никогда этих слов и не позволяет себе употреблять; ибо никто не может знать, почему другой так заботлив о внешней обрядности; и как бы ни казался ему нравственно нехорош очень набожный ближний, он всегда ищет в сердце ему какого-ни-

будь оправдания, даже и не любя его лично. (Например: этот человек так много молится именно потому, что кается, что понимает сам, какой у него дурной характер; а это и есть смирение и т. д.)

Все это, однако, касательно матери я стал соображать, конечно, позднее, но в детстве моем я был ей все-таки гораздо более, чем отцу, обязан хорошими религиозными впечатлениями.

Молиться перед угловым киотом учила меня не мать, а горбатая тетушка моя Екатерина Борисовна Леонтьева, отцовская сестра. Но я помню хорошо, как сама мать молилась по утрам и вечерам. Когда незадолго до смерти отца 16-летнюю сестру мою Александру привезли в Кудиново из Екатерининского (Петербургского) института, то мать моя вместе с нею молилась у себя в кабинете по утрам, а я часто, еще лежа на диване, слушал. Я рассказал об этом подробнее в другом месте (в воспоминаниях матери моей об императрице Марии Феодоровне). Не знаю, как бывает это у других, но у меня те чувства мои, которые соединились с какою-нибудь картиной, лучше

сохранились в памяти. Помню картину, помню чувство. Помню кабинет матери, полосатый трехцветный диван, на котором я, проснувшись, ленился. Зимнее утро, из окон виден сад наш в снегу. Помню, сестра, оборотившись к углу, читает по книжке псалом: «Помилуй мя, Боже!... Окропиши мя исопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит!» Эти слова я с того времени запомнил, и они мне очень нравились. Почему-то особенно трогали сердце.

Позднее, когда сестра стала старше, все это изменилось; молитв у матери по утрам она больше не читала, потому что мать во всем дала ей больше противу прежнего воли. Но эти две первые зимы ежедневных утренних молитв не прошли для меня без следа. И когда уже мне было 40 лет, когда матери не было уже на свете, когда после целого ряда сильнейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и поехал на Афон к русским монахам, то от этих утренних молитв в красивом кабинете матери с видом на засыпан-

ный снегом сад и от этих слов псалма мне все светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, любимый и теплый свет. Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии. А любовь может снова возжечь в сердце и угасшую веру. Любя веру и ее поэзию, захочется опять верить. А кто крепко захочет, тот уверует. В детстве есть такие минуты, в которые мы более, чем в другие минуты, готовы к приятию сильных и глубоких впечатлений. Эти минуты очень редки, и потому мы вообще из детства нашего немного хорошо помним. Последовательно не помним ничего, а все в виде отдельных и мгновенных образов. Очень часто даже бывает, что случаи, возбуждившие в детском уме особое внимание, вовсе не важны сами по себе, но, вероятно, какие-нибудь психические сочетания в эту минуту в высшей степени благоприятны для восприятия и сохранения впечатлений. Я рос, например, в деревне; могли я не видеть каждую зиму снега в саду, каждое лето цветов, полей, засеянных хлебами, птичьих гнезд и т. д.? Конечно, видел все это с первых лет жизни и постоянно.

Отчего же снег в саду или сад в зимнем уборе я запомнил только в один какой-то раз, в одно какое-то утро, когда я, лежа на диване, слушал слова псалма? Положим, что тут еще была особая причина: совпадение слов псалма с картиною, видной мне из окон («Омыеши мя и паче снега убелюся»). Но почему я в какой-то светлый летний день, именно в этот день, в этот раз, а не в другой, узнал впервые, какая разница между овсом, ячменем, пшеницей и рожью? Быть может, и прежде их показывали, однако я на всю жизнь сохранил память об одном этом только случае. Светлый день; голубое небо; я иду с теткой в поле, и она мне срывает колосья и показывает разницу. Почему еще я о цветах ничего не помню до той минуты (именно минуты), когда я (5 или 6 лет, а может быть и 7 даже) подхожу к большому круглому столу в кудиновской гостиной и вижу на нем вазу с ранними цветами? В этот день, 18 мая, именины сестры, недавно взятой из института; я вижу в этой вазе только три сорта цветов: белые и лиловые. Я спрашиваю, как их зовут, и мне говорят: «Это сирень, это нарциссы, а это тем-

но-лиловые ирисы». Неужели я прежде не видал этих цветов и не говорил о них? Наверное, и видал, и говорил. Однако только с этой минуты у меня явилось и осталось на всю жизнь ясное, сознательное представление о первых красотах весны и лета, о том, что цветы в вазе на столе это что-то веселое, молодое, благородное какое-то, возвышенное... Все, что только люди думают о цветах, я стал думать лишь с этого утра 18 мая. И с тех пор я не могу уже видеть ни ирисов, ни сирени, ни нарциссов даже на картине, чтобы не вспомнить именно об этом утре, об этом букете, об этих именинах сестры (других ее именин я вовсе не помню). Вспоминаю всегда и о ней самой, об ее довольно веселой и оживленной молодости, о нашей тогда дружбе и о позднейшей ее весьма нерадостной судьбе и незначительной жизни.

В этом же роде я могу припомнить, при каких обстоятельствах я ясно сознал и запомнил, что такое парящий в небе ястреб или орел. И многое я могу привести в этом роде на память, чтобы доказать, что неизгладимые следы в памяти нашей зависят не столько от

важности самого случая или события, сколько от нашей готовности воспринять глубоко то или другое впечатление. Есть много вещей гораздо более замечательных и важных в нашей жизни, о которых мы или вовсе не помним и вспомнить и вообразить их даже с помощью других не можем, или забываем вовсе до тех пор, пока не увидим какой-нибудь давно не виданный предмет, относящийся к тому времени: письмо, книгу, портрет, мебель, дорожку в саду или в поле и т. д.

Например, когда в 70 году Маша, возвратившись от меня из Турции, сказала моей матери, что я, несмотря на все последние удачи мои по службе, стал очень тосковать и думать о том, чтобы кончить жизнь мою в монастыре, мать приняла это очень спокойно и сказала ей: «Это странно! Когда я его маленьким возила раз в Оптину, ему так там понравилось, что он мне сказал: «Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь». Я же не только этих слов моих, но и самой поездки в Оптину вовсе не помню и вспомнить не могу. И мать моя до этого разговора с Машей никогда об этом случае не упоминала ни

без меня, ни при мне. Такого важного обстоятельства моей детской жизни я вовсе не помню, а из числа менее важных и поразительных случаев я в течение всей моей жизни беспрестанно вспоминал о том, что первый раз, когда я помню мать мою ясно и хорошо, это было в один день ее причащения. Я ее поздравил. Было это вот так. Тетка сказала мне: «Поздравь маменьку, она причащалась сегодня». Я вышел в залу, в которой мать моя наигрывала что-то на фортепиано, и подошел к ней. Если я скажу просто: «Мать нагнулась ко мне и поцеловала меня с улыбкой», это будет совсем не то, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что ни прежде, ни после (в течение долгого времени) этого полудня я не помню лица моей матери в эти годы. Тогда еще у нее не было морщин; я их не помню вовсе, по крайней мере в эту минуту, когда она, сидя у фортепиано, с нежною улыбкой нагнулась поцеловать меня, у нее было именно такое красивое, моложавое и приятное лицо, как на акварели Соколова[149], в круглом чепце и красном шелковом платье с воздушными рукавами. Только платье у нее было другое, белое

кисейное с голубыми горошками. Не могу сказать и сам не могу понять, что на меня так сильно подействовало в этот краткий миг, но могу уверить, что я никогда не забывал его. Когда я вспоминал что-нибудь о детстве, или о любви моей к матери, или о днях св. причащения, это мгновение одним из первых представлялось мне. После 20 лет я стал сочинять повести и романы. Иногда нужно мне было вообразить для них образованную, благовоспитанную, изящную и не старую еще мать! И тотчас же мне представлялось, что мой герой видит свою молодую мать после причастия в зале за фортепиано, и непременно в кисейном белом платье с голубыми горошинками. Мне не пришлось нигде этого написать, ибо великое множество задуманного мною от 20 до 58 лет я написать не мог; но мне всегда казалось, что если придется изображать такую молодую мать, то непременно надо ее представить в таком платье, иначе читатель будет менее будто бы тронут, как будто образ, на меня действующий, должен и на него точно так же подействовать.

Сам по себе этот случай, положим, мало

объясняет главный вопрос, было ли мое воспитание православным или нет, но мне кажется, что он имеет вот какое значение: хорошо, чтобы в детских воспоминаниях религиозное соединялось с изящным. Чувство будет сильнее, полнее. Приятнее будет вспоминать.

Если я теперь начну внимательно припоминать все что могу относительно религиозного влияния на меня матери моей во время детства и отрочества, лет до 17–18, то мне придется сказать, что вообще оно было средней силы; она не вредила мне с этой стороны, но и не давала мне большой пользы. Остались у меня в памяти очень приятные воспоминания о некоторых богослужениях, изредка о зимних всенощных в кудиновской длинной зале, которые производили на меня впечатление. Несколько раз мы с матерью ездили на зиму в Петербург, сперва чтобы видеть сестру в Екатерининском институте и старших братьев в корпусах, потом чтобы взять сестру из института, когда она окончила курс; потом ездили уже с сестрой вместе туда. В эти зимы в Петербурге мать моя гораздо чаще ходила с нами к обедне и ко всенощной, чем в

деревне. В Петербурге я ее видел несравненно более богомольною, чем в деревне. Причину я понимаю теперь, понимаю даже ее чувство. «Народничества» или «простонародничества» тогда вовсе не было у дворян. Если и было, то бессознательное, и больше у тех, которые сами были «посерее», так сказать, и этим ближе к народу. Мать моя не любила «простого» народа; не любила толпы, тесноты и толкотни в храмах; принуждать себя много не находила нужды. Она хотела молиться для себя искренно, тепло; хотела молиться тогда, когда ее сердце требовало молитвы. Она, видимо, была из тех людей, которые не признают важности долгого принудительного и тяжкого (почему бы то ни было тяжкого) присутствия в храме. Она хотела не почтительного повиновения уставу и обряду, искала не подвига послушного (и отчасти сухого) выстаивания даже при неудобных, отвлекающих или раздражающих условиях; она хотела молитвы горячей и покойной. Вот почему, я думаю, она некоторые петербургские церкви, особенно домовые, предпочитала не только деревенским, но и калужским, например. Когда я в

течение 4 с лишком лет учился в калужской гимназии (от 44 до 49-го?), и вся семья наша зимы проводила в Калуге, я не помню, чтобы мать моя часто ездила в церковь. А в Петербурге она часто бывала у обедни, особенно в домовых церквях, или чаще всего она ходила и нас с сестрой водила в домовую церковь Института слепых. Ходили мы не с главной лестницы и не в самую церковь (самой церкви я даже ни разу и не видел)! Мы проходили через какое-то внутреннее крыльцо и по особой лестнице в просторную комнату с паркетным полом, из которой была боковая дверь в церковь. Богослужения видно не было из нее, но возгласы и пение были очень хорошо слышны. Через эту комнату проводили к началу обедни в церковь и самих слепых по два в ряд, в длинных сюртуках. (Помню, что смотреть на них мне было очень неприятно, какая-то физическая брезгливая жалость.) Остальные же впечатления были мне так приятны, что я даже раз или два отпрашивался у матери туда и без нее ко всеобщей. (Мне было тогда уже 11–12 лет.) В этой зале, или большой комнате с паркетным полом, было

очень чисто, светло и просторно; общество молящихся было избранное, не то чтобы исключительно знатное, но избранное в том смысле, что тогда в нее (не в самую церковь, всем предоставленную, а в эту боковую залу) можно было входить только по знакомству или рекомендации. Тогда швейцар впускал. Здесь обедня начиналась поздно; все почти стояли у стен, никто друг другу не мешал, никто не толкался, не «протискивался» вперед, не хватал рукой вас за спину или бок, чтобы оттолкнуть с места, никто не плевал на пол, не сморкался в руку, не «харкал». Можно было всегда достать стулья.

Здесь, я помню, мать усердно молилась, много крестилась, была сосредоточена, клала поклоны охотно, Великим постом даже и земные, не брезгая здесь полом, как брезговала во многих других местах. Боже мой! Как я стал после 40 лет, после жизни на Афоне понимать ее и даже сочувствовать ей! А было время, когда (между 20 и 40 годами) я не понимал ее в этом и не сочувствовал ей.

По этому поводу, то есть по поводу церкви «всенародных», так сказать, «тесных и

многолюдных», и церковей особых, «дворянских», что ли, домовых и т. п. можно, я думаю, написать целое психологическое рассуждение и разобрать подробно, какое разнородное значение имеют эти храмы для души христианина. Но я боюсь слишком далеко отвлечься этим рассуждением, а приведу только один разговор, который я имел в Москве в 70-х годах с Дмитрием Васильевичем Аверкиевым [150] и его другом Антроповым [151] (который написал «Блуждающие огни»). Мы разговаривали о чем-то, касающемся Православия, и мне случилось упомянуть, что я по субботам бываю у всенощной или на Моховой в той церкви, которая по правую руку от Охотного ряда (названия не знаю), или в той, которая в самом Охотном ряду выступом (тоже забыл; где отец Иоанн Виноградов), или еще в маленькой дворцовой церкви, а по воскресеньям у обедни в университетской церкви. Аверкиев воскликнул: «Вот уж таких церковей, как университетская, не люблю! Мне нужна такая церковь, где мужик молится или стоит около меня какая-нибудь несчастная сапожница с подвязанной щекой!» Я узнал тот-

час же в этих словах моего умного и доброго собеседника мою собственную прежнюю точку зрения, мое собственное объективное, так сказать, народничество 60-х годов. И мне когда-то (до жизни на Святой Горе) для пробуждения во мне какой-то тени или подобия религиозных чувств нужен был пример людей низших по умственному развитию, сообщество существ более простых, более наивных, как говорится, ибо во мне самом была тогда только смутная любовь к вере, но самой веры не было. А когда пришла настоящая вера, мне уже вовсе не нужны стали для сильных религиозных чувств ни мужик, ни салопница. Напротив того, они стали в храмах физически мне больше прежнего мешать. К 40-м годам здоровье мое сильно расстроилось, и для бедной, немощной плоти моей теснота в церкви стала слишком тяжела; толпа и теснота так развлекают и тревожат телесно, что я мог выдержать их только как подвиг, послушание, принуждение, а сосредоточиться уже не мог так отраднo и усладительно, как сосредоточивался на молитвенных и покаянных мыслях в такой церкви, где никто мне не мешал, никто

меня не толкал, не хватал руками за спину, не сморкался около меня в руку и т. д.

Когда Аверкиев сказал мне о том, что он не любит таких церквей, как университетская, я тотчас же вспомнил о бедной (уже несколько лет до этого умершей) матери моей, вспомнил об ее брезгливости и нервности и о том «народничестве», которому я был так долго сам причастен и от которого более всего освободил меня Афон. И, вспомнивши обо всем этом, сказал Аверкиеву: «Да, и я так думал и так чувствовал, пока сам не уверовал. И даже, помню, осуждал несколько мать свою покойную за ее слишком брезгливую дворянскую веру. Она никогда почти в обыкновенные приходские церкви не ходила и не ездила, а выбирала все такие, где было просторно, очень чисто и покойно. И мне когда-то казалось, что те светские дамы и образованные мужчины, которые ходят в такие «избранные» церкви, не веруют так искренно, как веруют те мужики и салопницы, о которых вы говорите. Но мне пришлось позднее сознать мою ошибку. Когда я сам стал чувствовать сильную потребность молитвы и присутство-

вать при совершении таинства, то мне для души народ стал менее нужен. А для тела больного и усталого стало нужнее спокойствие. Поверьте мне, Дмитрий Васильевич, та вера еще не настоящая, которая нуждается в этих воздействиях «простых людей». Это чувство, «мужики и т. п.», чувство хорошее; в нем смешаны чувство эстетическое с гуманным или со славянофильским, каким-то патриотическим, пожалуй, но это не настоящее чисто религиозное, которое заставляет человека искать молитвы для себя и радоваться всему тому, что устраняет рассеяние и раздражение. На что народ тому, кто хочет для себя молиться?..»

Аверкиева я находил всегда одним из самых добросовестных (умственно) людей в России; он на это не отвечал ни слова, и я видел по доброму и ясному выражению его лица, что он понял, если еще не опытом сердца, то умом, правду мою и не находил нужным противоречить мне. Что касается Антропова, то он прямо сказал: «Я думаю, что вы правы!»

— Я не верю религии моих образованных знакомых, но религии мужика, солдата, ме-

щанки и простого монаха верю.

На это надо ответить так: в этом случае ваше самомнение, ваша гордость берут верх над вашим умом. Это не мысль хорошая, объективно беспристрастная; это дурное чувство. Вы веру не ненавидите сами по себе. Вы ее даже уважаете и любите. Но сами вы не умеете верить, и вам завидно, что некоторые ваши знакомые умеют верить, дошли как-то до этого, а вы со всем вашим умом никак до этого дойти не могли. И вот вы допускаете, что те люди, которые не знают того, что вы знаете, не читали того, что вы читали, не жили барином, как вы жили, могут известным образом чувствовать, а люди, схожие с вами по воспитанию, привычкам, образованности, не могут иметь ни «страха Божия», ни веры в чудеса и таинства, ни упования на загробную жизнь, а непременно должны притворяться или обманывать самих себя, когда они ходят в церковь, причащаются, постятся и т. д... Вам досадно, вам не хочется признать, что эти люди, которых вы, может быть, не желаете ни в чем счесть выше себя, сумели развить в себе такие чувства, которые вам недоступны, и вы,

вместо того чтобы обратиться к себе со строгим вопросом: «Все ли я сделал, чтобы добиться такой веры», предпочитаете признать их какими-то притворщиками или фантазерами от нечего делать. Это гордость и зависть, и больше ничего.

Вот что надо ответить таким людям. Такой образ мыслей допустим на время во всяком человеке, и умном, и хорошем, но упорствовать в нем прежде всего не умно, не глубокомысленно, не справедливо. Что за вера в свое рассуждение безусловно! Проповедовать же все подобное, как проповедует гр. Л. Н. Толстой, это просто злодейство!

Что за ничтожная была бы вещь эта «религия», если бы она решительно не могла устоять против образованности и развитости ума!

1890 г.

О серии

По словам А. П. Чехова, «человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек». Как тут не вспомнить и крылатую фразу Тертуллиана о том, что «душа человека по природе своей христианка»!

Русская литература с ее вниманием к человеческой душе, к «проклятым вопросам» бытия пронизана поиском веры, стремлением «дойти до самой сути». Именно такие произведения – рассказывающие о силе духа, поднимающие вопросы об истинном смысле жизни, о Боге и человеке – представлены в серии «Классика русской духовной прозы».

Эта серия объединила книги, которые при других обстоятельствах едва ли могли бы оказаться на одной полке. Наряду с хрестоматийными «Повестями Белкина» и «Тарасом Бульбой» вы встретите здесь и менее популярные произведения русских классиков, а также сможете познакомиться с творчеством авторов не так хорошо известных современному

читателю, например с художественной прозой протоиерея Валентина Свенцицкого. Некоторые произведения, такие как повесть «Архиерей» иеромонаха Тихона (Барсукова), для многих станут открытием. В серию также вошла яркая проза современных писателей, продолжающих традиции классической литературы.

Мы рекомендуем

1. Александр Сергеевич Пушкин. Повести
2. Николай Васильевич Гоголь. Повести
3. Федор Михайлович Достоевский. Повести и рассказы
4. Антон Павлович Чехов. Повести и рассказы
5. Иван Алексеевич Бунин. Рассказы
6. Л. Пантелеев. Повести и рассказы
7. Валентин Павлович Свенцицкий. Избранное
8. Василий Акимович Никифоров-Волгин. Дорожный посох (повесть). Рассказы
9. Иван Сергеевич Шмелев. Няня из Москвы
10. Алексей Константинович Толстой. Князь Серебряный
11. Священник Николай Агафонов. Повести и рассказы
12. Борис Николаевич Ширяев. Неугасимая лампада
13. Алексей Николаевич Варламов. Повести и рассказы
14. Александр Иванович Куприн. Повести

и рассказы

15. Владимир Галактионович Короленко.

Повести и рассказы

16. Борис Константинович Зайцев. Избран-

ное

17. Иван Сергеевич Шмелев. Повести и рас-

сказы

18. Иеромонах Тихон (Барсуков). Архиерей

19. Николай Семенович Лесков. Повести и

рассказы

Следите за новинками серии!

Об издательстве

«**Ж***иви и верь*»

Для нас православное христианство – это жизнь во всем ее многообразии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно для этого мы издаем книги.

В мире суеты, беготни и вечной погони за счастьем человек бредет в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо – это изменение человеческой души. От зла – к добру! От бессмысленности – к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!

Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в многосложном современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни.

Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помогут найти главное в своей жизни!

Примечания

1

Дитя души – на Востоке значит приемыш, воспитанник, дитя, не телом рожденное, а душой принятое, по душе признанное, а не по плоти, по-гречески – «психо пэди». Рассказ этот основан на действительных греческих или греко-молдавских преданиях, сообщенных мне одним придунайским жителем. (Прим, автора).

[^^^]

Госпожа (греч.).

[^^^]

Шнурки.

[^^^]

4

Ходжа (от перс, хадже – господин) – почетный титул мусульманина в странах Ближнего и Среднего Востока. Давался придворным сановникам, высшему духовенству, купцам. В данном случае, видимо, речь идет о представителях духовенства.

[^^^]

5

Шаровары (широкие штаны, собранные у щиколоток) из простой, грубой ткани. Аба (араб.) – грубое белое сукно, из которого на Востоке делали плащи от дождя.

[^^^]

6

Сфакиот – житель провинции Сфакиа острова Крит.

[^^^]

7

Храмина – здание, сооружение.

[^^^]

Юнак – сербское слово, соответствующее русскому «молодец».

[^^^]

Чорбаджи – в Османской империи представитель сельской верхушки в XVI–XVIII вв. – староста, старшина, зажиточный крестьянин.

[^^^]

10

Коло – круговой славянский танец.

[^^^]

(Крафт) – кандильанафт – пономарь, алтарник.

[^^^]

12

Пара – мелкая серебряная монета в Турции (в обращении с 1623 года).

[^^^]

Кафеджи – содържателъ кофеини.

[^^^]

Фанариоты – влиятельные и богатые греки – участники восстания против власти Турции в 1821–1830 гг.

[^^^]

Кафеджидина – жена кафеджи.

[^^^]

Янычар – в султанской Турции солдат регулярной пехоты, комплектовавшейся из военнопленных, а также из христиан, обращенных в мусульманство.

[^^^]

Это иные делают на Востоке по существующему поверью, чтобы не потеряться после такого события. (Прим, автора).

[^^^]

Агаряне – потомки Исмаила, сына Авраама от Агари (рабыни его жены Сарры). Здесь употреблено в значении «турки, мусульмане».

[^^^]

Сарацины – так европейцы называли сначала арабов, потом вообще магометан, нехристиан, против которых предпринимались крестовые походы.

[^^^]

Хаджи – почетный титул мусульманина, совершившего хадж (паломничество) в Мекку.

[^^^]

Ага – в султанской Турции титул военачальников.

[^^^]

Эффенди – в Турции слово, употребляющееся как вежливое обращение к мужчине.

[^^^]

Тамбур – восточный трехструнный щипковый музыкальный инструмент типа мандолины с корпусом грушевидной формы и длинной шейкой.

[^^^]

Благоутробный (церк. – слав.) – милосердный, милостивый, сострадательный.

[^^^]

Беджеклык – строение вроде сарая для разведения шелковичных червей.

[^^^]

Икра – здесь: яички, которые откладывают бабочки тутового шелкопряда.

[^^^]

Десятина – здесь: десятая часть прибыли.

[^^^]

Запястье (устар.) – браслет.

[^^^]

Юхга – позорящий возглас, вроде шиканья и свиста.

[^^^]

Деспот (греч.) – владыко (обращение к архиерею).

[^^^]

Митрополия – здесь: резиденция епископа.

[^^^]

Парамана – экономка, няня, кормилица, вместо матери.

[^^^]

Дамасский нож – сделанный из дамасской стали (высокий сорт узорчатой стали, изготавливаемой особым образом).

[^^^]

Десница (церк. – слав.) – правая рука.

[^^^]

Побратим – названный брат, человек, который побратался с кем-нибудь.

[^^^]

Кушак – пояс, обычно из широкого длинного куска материи или шнура.

[^^^]

Ясакчи – страж, телохранитель.

[^^^]

Киоск – беседка, палатка.

[^^^]

Наргиле – персидская трубка для табака, при употреблении которой дым охлаждается, проходя при помощи длинного рукава через воду, первоначально находившуюся в выдолбленном кокосовом орехе (персидское «наргил»).

[^^^]

40

Обнажать – здесь: обирать, грабить, лишать имущества, оставлять ни с чем.

[^^^]

Клобук – часть монашеского облачения, высокая цилиндрическая шапка с покрывалом.

[^^^]

Треугольная шляпа.

[^^^]

Каик – турецкое узкое и длинное гребное судно.

[^^^]

Светолепный (церк. – слав.) – святой.

[^^^]

Ягница – молодая овца.

[^^^]

Волхвовать – здесь: заниматься колдовством.

[^^^]

Порфира – длинная, обычно пурпурная мантия монарха, надеваемая в торжественных случаях; один из символов власти.

[^^^]

Скипетр – один из знаков царской власти, жезл, украшенный драгоценными камнями и резьбой.

[^^^]

Держава – золотой шар с крестом наверху, служивший эмблемой власти монарха.

[^^^]

Чубук – полый стержень курительной трубки, через который курильщик втягивает дым от табака.

[^^^]

Ливан – ладан, ароматическая смола, употребляемая для курения при богослужении.

[^^^]

Газ – легкая, прозрачная ткань из шелка или льна особого газового переплетения.

[^^^]

Конфекта – то же, что конфета.

[^^^]

Фимиам – благовонное вещество, ладан.

[^^^]

Агнец – ягненок, барашек.

[^^^]

Мускус – сильно пахнущее вещество.

[^^^]

Мирт – вечнозеленое кустарниковое растение с красивыми белыми душистыми цветами.

[^^^]

Турецкое слово: фигура, изображение.

[^^^]

Аджем – арабское слово, означавшее у древних аравитян всякую чуждую нацию, особенно персов; аджемский ковер – «заграничный».

[^^^]

Фунт – русская единица измерения веса до введения метрической системы мер. 1 фунт был равен 409,5 г.

[^^^]

Квасцы – минеральные соли, использующиеся в кулинарии и медицине.

[^^^]

Киноварь – минерал красного цвета (сернистая ртуть), а также краска из этого минерала.

[^^^]

Наволока – то же, что наволочка.

[^^^]

Померанцевая вода – очень ароматная жидкость, производимая из цветов померанца, горького апельсина.

[^^^]

Чепрак – подстилка под седло лошади.

[^^^]

Авессалом – любимый сын царя Давида (третий его сын от жены Маахи), славился своею красотою.

[^^^]

Архистратиг (греч.) – военачальник.

[^^^]

Анафема – здесь употреблено как бранное слово.

[^^^]

Харон – в античной мифологии старик-перевозчик, переправлявший тени умерших в Аид через подземные реки Стикс и Ахерон и получавший за это монету, положенную в рот умершему.

[^^^]

Анафема – здесь: проклятие.

[^^^]

По-эллински – по-гречески.

[^^^]

Изваянием – здесь: лепниной.

[^^^]

Маис – кукуруза.

[^^^]

Благорастворение воздуха (церк. – слав.) – хороший воздух, хорошая погода.

[^^^]

Капище – языческий храм.

[^^^]

Синдон – по-гречески простыня.

[^^^]

Живот (церк. – слав.) – жизнь

[^^^]

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский философ, социалист, теоретик анархизма, социолог и экономист.

[^^^]

Святитель Иоанн Златоуст (ок. 347–407) – архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

[^^^]

Преподобный Иоанн Дамаскин (ок. 680-ок. 780) – богослов и поэт.

[^^^]

Хомяков А.С. (1804–1860) – русский поэт, публицист, один из основоположников славянофильства.

[^^^]

Поклонники – здесь: паломники.

[^^^]

Кавас – стражник.

[^^^]

Фустанелла – традиционная мужская одежда у албанцев и греков: белая рубаша с длинными рукавами, белая короткая и широкая юбка.

[^^^]

Дома с домовыми церквами. (Прим, авт.)

[^^^]

Ажурным.

[^^^]

Ренессанс.

[^^^]

Роккоко.

[^^^]

Стасидия – в греческих церквях вокруг стен устроены особые места, чтобы облакачивать. (Прим, авт.)

[^^^]

Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) – французский писатель, историк, библеист.

[^^^]

Штраус Давид Фридрих (1808–1874) – немецкий философ, историк, теолог, публицист.

[^^^]

В Ростове более прилично (комильфо).

[^^^]

Я не могу всего этого выносить.

[^^^]

Неточная цитата из стихотворения А.В. Кольцова «Молитва» (1836 г.).

[^^^]

Заключительное четверостишие из стихотворения А.Н. Майкова «Ангел и демон» (1841 г.).

[^^^]

Преподобный Иоанн Лествичник (VI–VII вв.) – игумен Синайского монастыря, автор классического произведения византийской аскетической письменности «Лествица Божественного восхождения».

[^^^]

Прево-Парадоль Люсьен Анатоль (1829–1870) – французский журналист, член Французской академии.

[^^^]

Эвдемонизм – (от греч. – счастье, блаженство) – античный принцип жизнепонимания, позднее в этике – принцип истолкования и обоснования морали, согласно которому счастье (блаженство) является высшей целью человеческой жизни.

[^^^]

Кельсиев Василий Иванович (1835–1872) – российский революционер, журналист и переводчик. Эмигрант, сподвижник А. И. Герцена, сотрудник Вольной русской типографии в Лондоне, этнограф, историк раскола, писатель. Основатель русской социалистической колонии в Тульче (Турция). В 1867 г. отошел от политической деятельности, вернулся в Россию, получил прощение и права гражданства.

[^^^]

Жюль Фавр (1809–1880) – французский политический деятель.

[^^^]

Адамант – алмаз, бриллиант; в переносном значении употреблялось о человеке, твердом в своих убеждениях.

[^^^]

Камилавка – головной убор монахов и священников в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого материей.

[^^^]

См.: «Письма с Афона о современных подвижниках афонских». Соч. Пантелеймона, монаха. Киев, 1871.

[^^^]

Жорж Санд – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен (в замужестве Дюдеван, 1804–1876). С именем Жорж Санд в середине 19 века были тесно связаны представления о женской эмансипации.

[^^^]

Имеется в виду роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1863) (утопический «четвертый сон» Веры Павловны).

[^^^]

Меттерних Клеменс Лотар Венцель
(1773–1859) – князь, австрийский государ-
ственный деятель, дипломат.

[^^^]

Живи и жить давай другим.

[^^^]

Разве может приличный человек иметь такой дурной вкус – помещански ревновать свою законную жену?

[^^^]

Фейе Октав (1821–1890) – французский писатель.

[^^^]

Имеется в виду роман «Histoire de Sibylle» (1862). Перевод на русский язык: «История Сивиллы. Роман» (СПб, 1862).

[^^^]

Вероятно, имеется в виду Франциск II (Франческо II) (1836–1894), последний король Обеих Сицилий в 1859–1861, представитель династии Бурбонов.

[^^^]

Лиза Калитина – героиня романа И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.).

[^^^]

Женщина должна иметь религию.

[^^^]

Бакалейщики, лавочники; в переносном значении – обыватели, мещане.

[^^^]

Аксаков И.С. (1823–1886) – публицист, поэт, общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения, младший сын писателя С.Т. Аксакова.

[^^^]

Кабе Этьен (1788–1856) – французский публицист, идеолог утопического коммунизма.

[^^^]

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) – французский философ, социолог, один из представителей утопического социализма.

[^^^]

Филарет (Дроздов) – митрополит Московский и Коломенский в 1826–1867 гг. В 1994 г. прославлен в лике святых.

[^^^]

Базаров – главный герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», один из наиболее ярких образов нигилистов в русской литературе.

[^^^]

Благосостояние, благосостояние народа (фр.).

[^^^]

Ламеннэ Юг-Фелисите Робер де (1782–1854) – французский философ и публицист, аббат, один из основоположников христианского социализма.

[^^^]

«Нет ни Бога, ни дьявола, все люди равны»
или «должны быть равны» (фр.).

[^^^]

Робеспьер Максимилиен Мари Изидор де (17581794) – деятель Великой французской революции.

[^^^]

Руссо Жан Жак (1712–1778) – французский писатель, философ, один из самых влиятельных мыслителей XVIII в., идейный предшественник французской революции.

[^^^]

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхау-зен (1815–1898) – германский государственный деятель, первый канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии и прозванный «железным канцлером».

[^^^]

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760–1825) – французский мыслитель, социолог, социалист-утопист.

[^^^]

Имеется в виду революция 1848 г., в результате которой был свергнут французский король Луи-Филипп.

[^^^]

В 1871 г. рухнула последняя французская монархия (был свергнут Наполеон III).

[^^^]

Пыпин А.Н. (1833–1904) – русский ученый, литературовед, этнограф.

[^^^]

Скабичевский Александр Михайлович
(1838–1911) – литературный критик и историк
русской литературы.

[^^^]

Катерина – главная героиня пьесы А.Н. Островского «Гроза».

[^^^]

«Паломничество Чайльд-Гарольда» – поэма
Дж. Г. Байрона.

[^^^]

Книги имеют свою судьбу (лат.).

[^^^]

Умеренного успеха.

[^^^]

Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ-идеалист.

[^^^]

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – немецкий философ, создатель учения, построенного на принципах «абсолютного идеализма», диалектики, системности, историзма.

[^^^]

Милль Джон Стюарт (1806–1873) – британский философ, экономист и политический деятель.

[^^^]

Вольтер Франсуа Мари Аруэ де (1694–1778) – французский философ, романист, историк, драматург и поэт эпохи Просвещения.

[^^^]

Фохт Карл (1817–1895) – выдающийся немецкий естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, врач, известен также как философ, представитель вульгарного материализма.

[^^^]

Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872) – немецкий философ-материалист и атеист.

[^^^]

Амвросий Оптинский (1812–1891) – иеромонах, с 1860 г. – главный духовник Оптинской пустыни (где К.Н. Леонтьев жил в 1887–1891 гг.). Прославлен в лике святых в 1988 г.

[^^^]

Иеросхимонах Иероним (в миру Иван Павлович Соломенцов; 1805 или 1806–1885) – духовник Свято-Пантелеимонова монастыря, имевший большое влияние на святогорскую жизнь.

[^^^]

Лютер Мартин (1483–1546) – немецкий теолог и общественный деятель, основатель протестантизма.

[^^^]

Гартман Эдуард (1842–1906) – немецкий философ-идеалист.

[^^^]

Грот Константин Яковлевич (1853–1934) – российский филолог-славист, архивист.

[^^^]

Имеется в виду: закупорка кишечника.

[^^^]

Архалук – мужской кафтан из полосатой шелковой или хлопчатобумажной ткани, сшитый из сложенных вдвое полотнищ (без плечевых швов).

[^^^]

Термалама – плотная персидская шелковая или полушелковая ткань с крупными узорами, из которой шили домашние мужские халаты.

[^^^]

Соколов Петр Федорович (1791–1848) – живописец, акварелист, литограф, портретист, родоначальник жанра русского акварельного портрета с натуры.

[^^^]

Аверкиев Д.В. (1836–1905) – русский драматург, прозаик, театральный критик, переводчик.

[^^^]

Антропов Лука Николаевич (1843–1881) – русский писатель, театральный критик.

[^^^]